

ШЕДЕВРЫ  ФЭНТЕЗИ

18+

МИАЗМЫ

СКЫРБА СВЯТОГО С КРАСНОЙ ВЕРЕВКОЙ

ПУЗЫРЬ МИРА И НЕ'МИРА

ФЛАВИУС АРДЕЛЯН

Перевод с румынского Наталии Осояну

Шедевры фэнтези

Флавиус Арделян

**Скырба святого с красной
веревкой. Пузырь Мира и не'Мира**

«Издательство АСТ»

2015, 2017

УДК 821.135.1
ББК 84(4Рум)

Арделян Ф.

Скырба святого с красной веревкой. Пузырь Мира и не'Мира /
Ф. Арделян — «Издательство АСТ», 2015, 2017 — (Шедевры
фэнтези)

ISBN 978-5-17-115256-7

Если однажды зимним днем вы повстречаете повозку, которой будет управлять словоохотливый скелет, то не поддавайтесь на его уговоры довести вас до города. А если все же решитесь, то приготовьтесь: скелет (зовут его, кстати, Бартоломеус) поведаст вам немало крайне интересных историй, но и плату потребует ужасающую. А истории эти будут о кровопролитном противостоянии двух миров, о зловещих крысолюдях, пожирающих целые селения, о настоящих монстрах и воистину страшных ритуалах, которые позволяют пройти через границу между вселенными. А еще он расскажет о людях, которые сражаются в этой войне: о святом Тауше, дающем человеку истинную жизнь после смерти и охраняющем проходы между мирами, об архитекторе Ульрике, который умеет строить мосты между пространствами, о зловещем человеке с головой коня и о тех, кто готов отдать собственную жизнь и смерть за победу их родного мира, ведь жизнь относительна, а смерть – не окончательна. Все эти судьбы, миры и легенды сойдутся в последней битве у города Альрауна, и далеко не все уцелеют в этом сражении.

УДК 821.135.1
ББК 84(4Рум)

ISBN 978-5-17-115256-7

© Арделян Ф., 2015, 2017

© Издательство АСТ, 2015, 2017

Содержание

Скырба святого с красной веревкой	7
Часть первая	9
Глава первая	9
Глава вторая	11
Глава третья	14
Часть вторая	18
Глава четвертая	18
Глава пятая	20
Глава шестая	24
Глава седьмая	24
Глава восьмая	27
Часть третья	34
Глава девятая	34
Глава десятая	35
Глава одиннадцатая	40
Глава двенадцатая	41
Глава тринадцатая	45
Глава четырнадцатая	47
Глава пятнадцатая	49
Глава шестнадцатая	49
Часть четвертая	53
Глава семнадцатая	53
Глава восемнадцатая	55
Глава девятнадцатая	56
Глава двадцатая	58
Глава двадцать первая	60
Глава двадцать вторая	62
Глава двадцать третья	65
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Флавиус Арделян
Скырба святого с красной веревкой
Пузырь Мира и не'Мира

Copyright © Flavius Ardelean

© Наталия Осояну, перевод, 2021

© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Скырба святого с красной веревкой

Пролегомена к «Трактату о сопротивлении материалов», содержащая сведения о рождении, жизни и смерти Святого Тауша

а именно его приключения от Гайстерштата до Мандрагоры: что он делал, что говорил, что видел и что чувствовал между Миром и не'Миром.

Поведал скелет Бартоломеус Костяной Кулак

Записал Флавиус Арделян

*Эта история о дружбе
посвящается Алексу Мюнцу*

*Кто может назвать мертвым того, чьи слова все еще вынуждают
нас умолкнуть и чьи чувства по-прежнему движут нами?*

Клайв Баркер. Сотканный мир

Пасмурным зимним утром, где-то по дороге между Каркарой и Тодесбахом, простенькая кибитка рассекала надвое заснеженное поле. Путь, проложенный в давние времена до Адоры и Вислы, идущий через Альрауну и Изворул-Бабей, дремал, притаившись под снегом, и лишь тот, кто уже бывал в здешних местах, знал, куда надо поворачивать и что лежит в каждой из сторон света – потому нередко случалось так, что тут или там какой-нибудь усталый пилигрим останавливался, потеряв ориентиры, и ждал, не покажется ли путешественник, едущий верхом, а то и, если удача смиростивится, ведущий в поводу еще одну лошадь, чтобы можно было поскорей убраться с этого поля.

Так уж вышло, что удача нашего путника притомила и задержалась поблизости, чтобы отдохнуть: увидел он издалека кибитку и фигуру в длинном сером одеянии, восседающую на дощатом передке с поводьями в руках, правящую исхудалой клячей, которую годы не пощадил. Подъехав к путнику, возница остановил повозку и взмахнул костяной рукой – поприветствовал собрата по странствиям.

– Куда? – спросил он.

– В Альрауну, – тотчас же был ответ.

– А-а, Альрауна. Я как раз туда и направляюсь, дорогой путник, – проговорил возница и лишенными плоти пальцами указал на кучу ветоши и всякого тряпья у себя за спиной, где что-то было спрятано. – В тех стенах мне предстоит вернуть один тяжкий долг.

– Подвезешь? – спросил путник.

– А как иначе, дружище, как иначе?

Останься на черепе, что виднелся под капюшоном, хоть клочок кожи, эта кожа собралась бы складками, изображая улыбку.

– И сколько ты с меня возьмешь, славный возница? – спросил путник, в ответ на что скелет заявил, дескать, не время и не место для таких разговоров, лучше побыстрее забираться в кибитку, пока поле напрочь не засыпало снегом, а о плате можно поговорить и по дороге к стенам Альрауны.

– Смотри, возница, не обмани меня – не ровен час, запросишь больше, чем я могу дать.

Скелет заверил путника, что никогда не просит больше, чем человек может отдать, и вообще – его плата по силам любому.

– На дорогу уйдет пять дней, считая время на отдых и сон, – прибавил скелет, – только ты учти, дорогой путник, что я по натуре рассказчик, и мне нравится коротать долгий путь, повествуя байки выдуманные и байки правдивые, а моя выдумка может быть чьей-то правдой

или наоборот, так что, коли запутаешься, кто есть кто и о чем вообще речь, не пугайся – это всего лишь правдивая выдумка и выдуманная правда.

– Толика баек еще никому ни разу не навредила, – сказал путник и услышал, как скелет клацает зубами, торчащими из голых челюстей, – не от холода, а, судя по всему, от смеха. Путник замолчал и вознамерился слушать.

Забравшись на передок кибитки, на место подле скелета, он бросил взгляд назад, пытаясь по очертаниям догадаться, что скрывается под кучей тряпья. Не догадавшись, спросил:

– Что ты везешь братьям в Альрауне?

Но на это скелет ответил, дескать, не твое дело, дорогой пилигрим.

– Скверно смотреть назад, – прибавил он. – Ничего там нет хорошего. Лучше устремить взгляд свой зоркий – ох, прости, я только сейчас заметил, что у тебя только один глаз, – на дорогу, да наостри уши, ибо я поведаю тебе самую примечательную историю из всех, какие случались в этих краях.

– Это какую, возница? – спросил одноглазый.

– Я расскажу тебе про Альрауну, которая раньше звалась Мандрагорой ¹, чтобы ты извещал историю города, прежде чем подъедешь к его воротам; расскажу, как воздвигли ее неустанным трудом потомки мэтрэгуны ², а еще расскажу про Святого Тауша, защитника Мандрагоры – как он родился, рос и как отправился в Мир, воздвигать города, и, смею предположить, еще до того, как покажутся вдали городские стены, познаешь ты историю тайную и зримую как самой Мандрагоры, так и ее святого. Но не забывай, драгоценный мой путник: что одному выдумка, то другому – правда, и наоборот, так что коли запутаешься, кто есть кто и о чем вообще речь, не пугайся, ведь это всего лишь выдумка, то бишь самая правдивая правда.

– А как же плата? – опять осведомился путник, и услышал в ответ:

– Плату обсудим вечером, у костра, как нагрянет ночь. А до той поры молчи и слушай, что я тебе расскажу.

– Слушаю, возница, слушаю, только скажи мне вот о чем, чтобы я ведал: откуда тебе известно про жизнь и смерть Тауша и про эту его Мандрагору?

– Мне все это известно, потому что имя мое – Бартоломеус Костяной Кулак, славен я как грозный рассказчик и все видел сам. А теперь – слушай!

И вот так начал скелет свое повествование...

¹ *Альраун* – существо, обитающее в корнях растения мандрагора, согласно поверью, бытовавшему в Средневековой Европе. – В этой части здесь и далее прим. перевод.

² *Мэтрэгуна* (*mătrăguna*) – в строгом смысле слова, румынское название белладонны (красавки). Однако исторически сложилось так, что оно используется в народе как синоним все той же мандрагоры, косвенным подтверждением чему может служить книга известного румынского историка и писателя Мирчи Элиаде «Zalmoxis, The Vanishing God» («Залмоксис, исчезающий бог»), изданная на английском языке: одна из ее глав именуется «Кульм мандрагоры в Румынии», в то время как в стихах, приведенных параллельно на румынском и английском, встречается именно «мэтрэгуна». О причине путаницы с названиями двух растений нет единого мнения – возможно, дело всего лишь в том, что они по-румынски звучат похоже и оба имеют непосредственное отношение к магическим обрядам. Тем не менее, культовый статус имеет только мандрагора, она же – в этой книге – мэтрэгуна.

Часть первая В которой предполагается...

Глава первая

В которой мы узнаем о том, как Тауш появился на свет в Крепости Духов и как все указывало на то, что быть ему знаменитым человеком; а еще – о трех знамениях, что сопровождали его рождение

Тауш родился в городе под названием Гайстерштат, и вошел он в Мир в то самое мгновение, которое появляется между днем и ночью и немедленно исчезает – вот ты его видишь, чувствуешь, а вот оно взяло и сгнуло, – и прояви матушка хоть малую толику небрежности, она бы потеряла свое дитя, выскочило бы оно у ней меж бедер наружу и завершилась бы наша история еще до начала – раз, и все. Но повитухи, бабки древние и мудрые, знали, как надо держать младенца и какие слова следует нашептывать, чтобы прогнать окружившую его пустоту. Так что мгновение минуло, а Тауш остался.

Ох и рады были его мать и отец, ибо, видишь ли, оказался он их первым ребенком, и ему суждено было остаться единственным, а когда они узнали от повитух, что маленький Тауш родился в шапочке, то есть сделается известным человеком, да не в одном лишь Гайстерштате, великое веселье охватило дом. Мать его проклинала свои мучения, что длились часами – очень уж трудно шли роды, как будто мир, в коем Тауш жил прежде жизни, был самым лучшим, а этот, снаружи, показался ему какой-то жуткой дырой, – но потом, узрев добрые знаки в нем самом и вокруг него, шепотом попросила прощения, и весь дом лил над ним слезы, и были то слезы радости.

Какие знаки, спрашиваешь? Ну, видишь ли, он еще даже не вышел целиком – половина его маленького тельца все еще оставалась внутри матери, – когда появился первый знак. Мучительные вопли роженицы и крики, которыми повитухи ее подбадривали – все это затихло, едва Тауш высунул голову в Мир, а те, кого в доме не было – люди на улицах, в домах и на рынках, – позже клялись и божились, что все в Мире остановилось: ветер улегся, животные притихли, дети бросили игры, люди умолкли, жучки-паучки замерли, небеса застыли и даже мысли оцепнели. Тишина воцарилась в Гайстерштате и окрестностях; люди и звери молчали, недвижимые, покуда Тауша не извлекли из утробы матери и не вложили ей в руки. И все вокруг, просыпаясь, боялись вернуться в этот мир, ибо обитель тишины, куда перенес их маленький Тауш, была слаще сладкого. Некоторые избрали своим уделом вечное молчание, больше не сказали ни словечка, а движения их стали редкими и скупыми – так сильна оказалась ностальгия по тем мгновениям, когда Тауш, высунув голову из материнского лона, решил с горечью, что в Мире слишком много шума.

И был еще один знак, через несколько дней после рождения, когда все в Гайстерштате проснулись утром и мучились потом несколько часов беспокойством: что-то шло не так, как обычно. А что именно? Сам не знаю, но как-то все было неправильно. Только к вечеру они поняли, что стряслось, и отправились искать тараканов и прочих козявок, ползучих да летучих, по погребам и кладовкам, под мостами и в садах, однако во всем Гайстерштате от насекомых не осталось ни следа. Больше ни в кого не впивались комары, блохи не кусали, пчелы исчезли целыми роями, жуки-рогачи не возились на земле. Целый день провели жители города без жужжания и стрекота, прежде чем поняли, что это тишина жужжит и звенит в ушах, громче любого насекомого в целом мире. Говорят, многих обуял страх: ведь известно, что насекомые жили на земле задолго до человека, а еще – что им суждено властвовать тут и после гибели людской, возводя замки-муравейники из праха наших тел. Но так уж вышло в Гайстерштате,

что все букашки-таракашки взяли и исчезли, остались люди, ущербные, одни-одинешеньки, – а это, если верить молве, может означать лишь конец всем и всему, да еще и тому, что могло бы приключиться отсюда и дотуда.

Но недолго они боялись, потому что какой-то парнишка выбежал на рынок и заорал во все горло, дескать, там, в том доме, где родился на днях малец, как бишь его, Тауш, стоит такой шум, такой гул и такое жужжание, что прям стены трясутся и окна дребезжат. И все, кто только мог, бросились туда стремглав, так что вскоре весь город собрался окрест дома младенца Тауша, где яблоку негде было упасть, и слушал гомон насекомых, доносящийся из жилища бедных родителей, кои стояли на крыльце и только плечами пожимали, объясняя соседям, мол, дитяtko всю ночь плакало, а теперь, когда все букашки-таракашки сползли к нему в комнату, спит аки ангелочек. Это и было второе чудо при рождении маленького Тауша, святого Мандрагоры. Откуда я о нем знаю, спрашиваешь ты меня, дорогой путник? От отца моего, славного рассказчика, а в роду нашем, как говорится, щепка от полена далеко не улетит, да и косточка от скелета далеко не укатится.

А третье, спрашиваешь? Хочешь узнать про третье чудо? Было и третье, ты верно догадался, да и прочие могли бы сохраниться, сбереги их кто-нибудь, – будь прокляты те рассказчики, которые знают, да не повествуют! Прежде чем я поведаю тебе о третьем чуде, должен ты узнать кое-что о Совете старейшин Гайстерштата и о том, почему он в те времена так прославился везде и всюду. Как ты отлично знаешь, дорогой попутчик, в этой части Ступни Тапала принято, чтобы у каждого города был совет старейшин, которые наставляют горожан днем и оберегают ночью – коли не знал ты, в Альрауне, куда мы направляемся, тоже такой имеется; и более того, в наши дни там есть еще и Городской Совет, что бы это ни значило, но с ним, как сказывают, лучше не связываться и в дела его носа не совать. Ну так вот, чтобы понять третье чудо, знать ты о Совете Гайстерштата должен следующее: никто в городе никогда его не видел, потому что собрали его не из самых старых горожан, а из таких стариков, что старше и быть не может, то бишь из покойников. Да-да, ты правильно понял – собрание то было из мертвых. И не просто мертвых, а тех, кто преставился давным-давно, не вчера и не позавчера – от тел их остались лишь рассеявшийся прах да раскрошившиеся кости. Словом, Совет старейшин Гайстерштата был целиком и полностью сборищем древних призраков.

Ну что ты так вытаращился на меня своим единственным глазом, я же просто говорю то, что слышал сам! Коли верить молве, в Доме собраний привидения время от времени устраивали сборище, решали то да се, а потом какой-нибудь важный горожанин – не из Совета, а из тех, кто ему служил, – выходил на площадь и сообщал народу обо всем, что замыслили духи, ибо те, овеванные хладными али теплыми тенями, из мира своего, никому не ведомого, руководили Гайстерштатом.

Почему я тебе все это рассказал? Чтобы ты понял, до чего великим был день, когда перед домом маленького Тауша на каменных ступеньках крыльца появился тот самый важный человек, о котором я упомянул, и, стоя бок о бок с родителями младенца, коих выгнали из дому на час-другой, объявил собравшимся зевакам, что в этот самый день – и даже в этот самый момент – духи Гайстерштата собрались держать совет вокруг колыбельки, где умиротворенно лепетал младенец Тауш. Совет все длился и длился, и лишь к вечеру глашатай, так ни слова и не сказав толпе, ушел с крыльца и направился к Дому собраний, размахивая руками, будто выкраивая в столпотворении место для свиты своей незримой, вошел туда, двери чутко придержал – видать, сперва впустил всех духов-правотворцев – да и запер. О чем говорили на том странном собрании, никто нам не расскажет, разве что букашки-таракашки, но кому охота их расспрашивать?

Вот так миновал первый год Тауша в Гайстерштате, и люди, один за другим, потихоньку начали привыкать к тишине и недвижности, которые охватывали город и как будто бы весь Мир, к исчезновению всех жучков-паучков на день, на два, куда собирались те в комнате

маленького Тауша, если он не мог спать, или у него болел животик, как у любого другого младенца, и к тому, как иной раз Дом собраний оставался на целый день покинутым, а глашатай призраков стоял в дозоре на каменном крыльце дома, где дитя по имени Тауш лопотало, будто разговаривая с воздухом.

Глава вторая

В которой мы узнаем о детстве Тауша и о том, как он трижды исчезал из Мира, возвращаясь всякий раз поумневшим и погрустневшим; Тауш придет свой инур

Теперь, когда я рассказал тебе про все чудесные события, что сопутствовали рождению Тауша, да не взбредет тебе в голову, что на том чудеса и закончились; нет, ибо вскоре после того как нашему Таушу исполнилось три года – а до той поры лепечущего младенца (поскольку заговорил Тауш очень поздно) сопровождали, как я уже говорил, букашки и призраки из Совета старейшин, да еще те странные тишина и неподвижность, как будто нечто неназываемое и недвижимое приходило в Гайстерштат, тайком навещая Тауша, – ну так вот, как я уже сказал, прошло три года, и ему стало очень одиноко, а потому завел он привычку иной раз пропадать, подыскивая для этого в доме такие места, что только диву даешься.

Ты чего это? Зеваешь? Не вздумай уснуть, пока я рассказываю свою историю, древние мои предки такого бы не потерпели! Я сказал, спим и едим на привале, а не нравится – слазь и дуй пешком в свою Альрауну. Да будет тебе известно, дед мой часто повторял такие слова: мальчик мой, если я чего и понял про людей за восемьдесят семь лет, так это то, что едят, пьют и спят они чересчур много. Не будь как все! И вот я не такой, как все.

Теперь слушай.

И вот когда Таушу делался белый свет не мил, он исчезал, и можно было услышать, как мать его плачет: ой-ой, где же мальчик мой, верните мне мое дитятко! Потом она его находила где-нибудь под лестницей, в бочке с мукой, в прохладном погребе, с голубками на чердаке, а иной раз сидел он на куске сыра, в чулане, тихо и неподвижно – он мог так замирать хоть на целую вечность, – и в тот самый день мать могла бы открыть чулан, протянуть руку за тем, что ей требовалось, а то и голову туда засунуть хоть десять раз, хоть сто, но не увидеть его. Но стоило мальчику моргнуть, и бедная женщина пугалась до полусмерти, а потом ее жалобный плач превращался в слезы радости. Со временем она перестала плакать и смирилась с тем, что вот такой он, ее маленький Тауш, как привыкает человек ко всякой мысли, будь она хорошей или плохой. Все это я знаю от собственной матушки, которая в те времена была матери Тауша как сестра.

Но в один прекрасный день шутка, похоже, зашла слишком далеко: так мед, засахарившийся и загустевший, вроде и хорош, да только слишком уж хорош, чтобы быть хорошим. Тауш не вышел из укрытия, когда ночь спустилась на Гайстерштат, и не вышел на свет с зарей, и вот так прошел день, а за ним другой, потом еще один, пока не миновала целая неделя в опустевшем доме, куда пришла великая печаль. Одни знай себе твердили, что мать его сошла с ума и покончила с чудесами маленького Тауша собственными руками (ибо в то время никто не знал, от Мира его силы или от не'Мира); другие говорили, дескать, быть того не может, ведь женщина любила свое дитятко, уж скорее малец так хорошо спрятался, что потом сам себя не нашел; кто-то заявлял, мол, зверь какой проник в дом через дверь, которую позабыли закрыть, и сожрал его; кто-то трепался, что его украли и продадут на ярмарке («Приходите поглядеть на мальчишку-чудотворца!»); кто-то болтал, что забрали его духи из Совета; а кто-то слов зря не тратил – исчез он, ну и все, чего тут разглагольствовать? Такие были речи. Что ни творил маленький Тауш, все было непонятно для человеческого разума. Спросили бы они у букашек, узнали бы правду, но кто умеет разговаривать с букашками? Тауш был такой один.

Вернулся ли он, спрашиваешь? Вернулся, а как иначе, что бы я тогда рассказывал тебе целых пять дней и о чем бы тебе снились сны целых четыре ночи, ага? Вернулся он через неделю, как будто ничего не произошло, и матушка нашла его на заднем дворе играющим с соседской кошкой. Обняла, заплакала – радость-то какая! Хотела даже стол накрыть для родни и соседей, но, как пригляделась к своему чаду повнимательней, задумалась – и хмурилась потом три дня да не спала три ночи, ибо, как сказала она моей матери, всякая женщина знает своего ребенка, ведь так? А малыш Тауш сделался не таким, как прежде. Что-то с ним приключилось, глаза его как будто стали глубже, взгляд сделался мудрее, как будто до той поры Тауш читал строки, потаенные в окружающем воздухе, разбирал Мир в тишине, что царила у него в голове, букровку за букровкой, а теперь казалось, что он читает между этих строк, и то, что обнаружилось там – сокрытое за тем, что спрятано позади Мира, – заставляет его страдать и дрожать, словно в ознобе. Но Тауш молчал, и никто так никогда и не узнал, куда он подевался на целую неделю.

Однако догадки женщины о том, что ее малыш вернулся поумневшим, но и погрустневшим из тех диких мест, с изнанки Мира или где он там побывал, подтвердились, когда она стала подмечать новые странности, происходившие вокруг него. Когда они садились за стол, старая брынза ни с того ни с сего делалась свежей; когда Тауш приносил из чулана хлеб, тот из сухого и твердого, каким ждала его увидеть мать, становился свежим и мягким; когда маленький Тауш выходил из погреба, скисшее вино опять превращалось в молодое, как будто сок для него выжали из винограда совсем недавно; и так далее, и тому подобное. Но после того как женщина поняла, что происходит, она перестала расстраиваться и радовалась дарам своего мальчика, а тех, кто прознал об этом – ибо так заведено в Мире, люди болтать любят, – принимала она у себя в доме и раскладывала еду и питье рядом с ребенком, пока он знай себе играл с какой-нибудь выточенной из дерева игрушкой, которая в его воображении оживала и рождала сказки.

Но были не только три чуда при рождении, были еще и три исчезновения маленького Тауша, так что сиди смирно и слушай. И не беспокойся о том, что лежит в кибитке – моя это забота, не твоя! Ты лучше слушай.

Прошло около двух лет с тех пор, как малыш Тауш исчез на целую неделю, и все это время он никуда не уходил, не исчезал ни на миг. Но однажды мать снова не смогла его отыскать в доме, и опять плакала целый день, а потом другой, и третий, и прошла целая неделя, а за ней вторая, пока, наконец, маленький Тауш не вошел в ворота, как будто ничего не случилось, и не отправился в кладовку, чтобы перехватить там что-нибудь из еды, которая в его руках всегда становилась свежей. Когда вышел он из дома, женщина увидела его глаза, прочитала в них мудрость и боль; все поняла и промолчала. Поцеловала его в лоб и отпустила гулять во двор, на улицы – она ждала, она знала.

Не прошло и дня, как вслед за его уходом и возвращением появился первый знак – ясный, как родниковая вода. Перед домом случилась большая суматоха, а когда вышел Тауш поглядеть, что стряслось, увидел он упавшего коня с двумя сломанными ногами, который издавал тоненькие, жалобные звуки, а хозяин с топором в руках и со слезами на глазах как раз готовился ударить его в широкий лоб, чтобы избавить дорогого своего друга от жестоких мучений. Тауш тотчас же свистнул как сорванец и побежал к ним. Мужичок остановился, опустил топор. Мальчишка принялся шевелить пальцами особым образом и насвистывать особую мелодию, и, склонившись над сломанными ногами животного, начал мысленный труд, пустив в ход свои чувства. Через несколько мгновений конь тряхнул гривой и, рванувшись два, три раза, поднялся и предстал перед хозяином, горделивый и сильный. Сломанные его кости срослись. Толпа онемела, и много кто упал на колени перед мальчишкой пяти лет, маленьким Таушем, который, надо же, ушел во второй раз и вернулся – никто не знал, откуда – с новыми

силами, достойными святых отшельников. Но Таушу не было дела до удивления и восхищения окружающих: вернулся он во двор к родителям, где продолжил играть и бездельничать в тени.

А что же слухи? Слухи, как известно, не стоят на месте, и молва погостила в каждом дворе, в каждом доме, так что вскоре в Гайстерштате не было мужчины, женщины или ребенка, которые не прознали бы о новом чуде Тауша. И начали они, кто с чем мог, у кого что было на подворье, приходить к Таушу, чтобы он позаботился о цыпленке, собаке или корове; еще его звали, когда рождались жеребята или телята, дескать, ты просто стой вон там, малец, говорили старухи, стой поближе, если вдруг кобыле или корове понадобится. И маленький Тауш стоял, и с того дня до момента, когда он ушел из дома (да-да, ушел, но не торопи меня, каждой притче – свой черед), ни одно животное больше не заболело, и настало большое изобилие в мясе и молоке, яйцах и мехе в Гайстерштате. Но нравилось ли Таушу, что он заботится о тварях, чтобы те потом здоровыми приняли смерть от людских рук, мы уже не узнаем. Я бы рискнул сказать, что не нравилось, но что поделать, так уж живет человек, ни о чем не задумываясь. Мне-то откуда знать? Я всего лишь бедный скелет, который рассказывает байки под этим зимним солнцем. Прикрой-ка голову, не то еще сбрендишь и помрешь, а мы так не договаривались.

Теперь, если я поведаю тебе о третьем исчезновении Тауша, ты точно назовешь меня лжецом – три чуда при рождении, три ухода, что еще будет-то? Три жизни? Ну да, три, только вот две другие – не для этой истории, а для других, кои прозвучат в других местах и в другое время. Слушай!

Исполнилось нашему Таушу семь лет, но говорить он так и не начал. Я имею в виду, с людьми, потому что с жучками-паучками и зверями разговаривал он дни и ночи напролет. И вот, когда исполнилось ему семь, отец с матерью решили записать его в школу при церкви, чтобы обучился он грамоте, хотя в глубине души мать знала, что ее маленький Тауш в свои семь-то годочков мудрей всех учителей и священников Гайстерштата вместе взятых.

Когда они вернулись домой, сына там не нашли. Тауш исчез снова, в третий раз. Мать его не пролила ни слезинки ни в первый день, ни во второй, ни через неделю, ибо – я ведь уже об этом говорил? – человек ко всему привыкает. Прошла и вторая неделя без слез, но плацинды³ всегда были теплыми, чтобы мальчик смог поесть, когда вернется, где бы он ни пропадал. Но как пошла третья неделя, разрыдалась женщина и выплакала за час все слезы за предшествующие дни. До конца недели она плакала, а на четвертую неделю, видя, что мальчик не возвращается, сколотил отец маленького Тауша из шести досок гробик и положил на хранение до той поры, пока кто-нибудь не обнаружит его тело в каком-нибудь овраге или под мостом. Но не пригодилась домовина, потому что Тауш вновь вошел во двор, словно не отсутствовал ни единой минуты – и, наверное, до сих пор стоит где-нибудь эта деревянная штуковина, собирает пыль, а не прах. Увидев Тауша, все в доме обрадовались, да и Гайстерштат возликовал, что веротился маленький святой.

Но тяжело, как же тяжело было матери от мудрости и грусти, что светились в глазах мальчика, и несколько дней кряду не могла она встречаться с ним взглядом, когда целовала свое чадо в лоб или крепко его обнимала. Уверен, ты хочешь узнать, какое чудо принес с собой Тауш из одинокого паломничества, так что не буду тебя слишком сильно мучить ожиданием. Матушка Тауша увидела, как он сделал это в самый первый раз, когда присела на крыльцо, чтобы дать отдых ногам, рукам и спине, и задумалась про Тауша и про мужа своего – про все, что уже случилось и должно было случиться, – и вдруг какая-то толстенькая букашка прилетела, опустилась маленькому бирюку на плечо и усиками тронула его правое ухо. Тауш прекратил детские игры, и женщина снова увидела, какие у него глаза – глубокие, как омут, и мудрые, как небо. Мальчик встал, вышел за ворота на улицу и оттуда пустился по запутанным улочкам Гайстерштата. Женщина сразу же встала и пошла следом, боясь, как бы сынок не исчез

³ Плацинда (рум. placintă) – разновидность пирога в виде плоской лепешки с начинкой.

снова, ведь слезы после предыдущего раза еще толком не высохли. Но Тауш не покинул город, а остановился перед домом пекаря Бруйта, у которого было три дочери и три сына, вошел не постучавшись и поднялся в большую хозяйскую комнату. Матушка его ускорила шаг, вошла следом, извиняясь налево и направо перед всеми, кого видела в комнатах и коридорах, обещающая быстренько увести мальчишку из чужого жилища. Но, поднявшись наверх, обнаружила она маленького Тауша у ложа пекаря. Тот, весь белый, дрожал в ознобе, завернутый в одеяла, словно кто-то собирался отнести его в погреб на хранение, и все жизненные соки в нем пришли в разлад – в общем, лежал он на смертном одре.

Застеснялась женщина, потянула Тауша за руку, спрашивая, что это он делает у больного в доме, зачем мешает ему спокойно уснуть вечным сном. Тауш не ответил – а мы уже знаем, что он еще не разговаривал, хоть ему и исполнилось целых семь лет, – но просто снял рубашку и принялся пальцем в пупке ковырять. Семья умирающего глядела на него с изумлением и страхом, а мать от стыда чуть сквозь землю не провалилась, но не успел кто-нибудь что-то сказать или сделать, как Тауш начал вытаскивать из пупка красную нить, толстую и влажную – вытянул где-то метр, наматывая на кулак, после чего разорвал и оставшийся кончик запихнул обратно в пуп. Матушка его от изумления руки ко рту прижала, а люди вокруг начали шептаться: это ведь он, да, точно он, не так ли? Маленький Тауш, святой Гайстерштата.

Развернул Тауш нить и обмотал ее вокруг правого запястья пекаря. Потом надел рубашку и вышел из дома, держа мать за руку. Спрашиваешь, зачем он это сделал? Эх, многие люди задавались тем же вопросом в те дни, что последовали за смертью пекаря, многие ломали себе головы. Я знаю и могу тебе поведать, коли желаешь – ибо я об этом услышал от самого Тауша, когда позже, в пустоши, он мне заявил ни с того ни с сего, что гораздо важнее не исцелить человека, а правильно проводить его за пределы Мира. А жители Гайстерштата начали подозревать, что именно этим и занимается маленький Тауш – и, должно быть, это хорошо, ведь разве маленький святой когда-нибудь сотворил хоть какое-то зло? И вот теперь, когда падал человек на ложе, до мозга костей объятый предчувствием скорой смерти, посылали за Таушем, и чаще всего оказывалось, что он уже в пути, с какой-нибудь бабочкой на ладони или мухой на устах. Он приходил, раздевался, вытаскивал красную нить из пупка, а потом привязывал ее на правую руку умирающему, тем самым давая знать любому духу на любой заставе, что маленький Тауш, великий святой, был с этим человеком и утешил его в последние мгновения жизни.

Глава третья

В которой мы узнаем о том, как Тауша призвали ко двору, и о смерти его отца; в другой истории святая гниет заживо, готовясь отправиться в путь

Известие о его чудесах покинуло Гайстерштат и распространилось по равнине, как степной пожар на ветру, так что в скором времени легенда о Тауше – какая была, но приукрашенная – достигла Королевского Двора. В те времена король и его родня не затеяли еще долгую войну за пределами Слез Тапала, кои именуют также Великой рекой, а вели с соседями мелкие сражения, обуреваемые нетерпением и страстями. Между двумя такими битвами, когда король был дома, прознал он о маленьком Тауше и его даре заботиться о людях, уходящих в последний путь, и позвал мальчика вместе с семьей обвязать волшебным шнуром правое запястье своего деда – тот лежал на смертном одре уже много лет, все никак не мог испустить дух и надоел внуку хуже горькой редьки.

Когда торжественная процессия прибыла в Гайстерштат, мать Тауша очень испугалась, решив, что его посадят в темницу за ересь и все такое прочее, выдуманное или невыдуманное, и не хотела выпускать сына из дома. Пришлось придворным забраться назад в свои украшенные драгоценностями кареты, отправиться беседовать с самым важным человеком Гайстерштата, который просил то одного, то другого королевского посланца выйти и предстать

перед Советом, хоть тот и был невидим. Люди короля долго разговаривали с духами, поскольку те боялись отпустить Тауша, свое маленькое святое сокровище. Когда убедился Совет, что это и впрямь посланцы Двора, что маленький Тауш понадобился самому королю, разрешили призраки поездку и смягчили сердце женщины, уговорив ее собраться и отправиться с мальчиком во дворец. И вот так поехали все трое: десять дней спешили, поскольку дед короля был таким своенравным, что мог учудить за десять дней то, чего не сделал за десять лет – взять да и помереть.

Когда они прибыли ко Двору, там их приняли хорошо. Никогда в жизни не видели родители Тауша столько сокровищ и яств. Тауша сразу же отвели в покои старика, который уже плохо видел и плохо слышал, так что из всех радостей жизни – к всеобщему раздражению – ему осталась лишь возможность плевать в любого, кто приближался к кровати, или просто плевать, когда что-нибудь взбредет в голову. Но в Тауша он не плюнул. Мальчик снял рубашку и начал вытаскивать из пупка красную нить, но почему-то обвязал ею левую руку. Потом забрался в карету и дал всем понять, что готов: дело сделано, чего теперь канителиться? Домой, в Гайстерштат!

Родители боялись, что король разгневется из-за такого оскорбления, но вышло совсем иначе – властитель, обрадованный, что дело завершилось, как он хотел, дал им белолобого коня и кошель с «клыками» и «когтями», да отправил домой вместе с той же богатой процессией. Никто и не заметил, что нить Тауша была привязана к левой руке старика, ведь Тауш никогда раньше так не делал,

хоть и нельзя было понять, к добру то или к худу. Тауш привязал шнур, ну и все – возрадуемся! Но я-то знаю – я один! – что означает печать на левой руке, потому что встретил старика на пороге между Мирами: стоял он там и плевался налево и направо, но ни шагу не мог ступить ни туда ни сюда – такая великая сила была у Тауша.

Как вернулись они в Гайстерштат, весь город возликовал. Их маленький святой вернулся, не пропал среди чужаков, а кошель с деньгами оказался слишком большим для такой маленькой семьи, так что мать Тауша обрадовала всех, сообщив, что поделится наградой с теми, кто сильнее всех нуждается в деньгах. Устроили они пир на три дня и три ночи, но никто не заметил печали маленького Тауша; никто, кроме матери, но на то она и мать. Пока музыканты играли во дворе, повара неустанно готовили еду для родни и соседей, женщина сидела в комнате, в темноте, держа своего мальчика на руках, разговаривая с ним безмолвно, надеясь услышать его голос, пусть беззвучно, пусть как эхо собственного голоса, пусть как подражание мысли, или ветру, или чему еще – не важно чему.

– Почему ты грустишь? – спрашивала женщина и гладила его по волосам. – Стольких людей ты радуешь, возвращаешь жизнь животным, беседуешь с букашками и заботишься об иной жизни человека. Ну почему же ты сейчас грустишь? – Сказав это, женщина вздрогнула и поняла, что об этой жизни может позаботиться каждый в труде и размышлениях, а вот об иной – лишь горстка людей, среди которых и Тауш.

И ведь как трудно должно быть в семь годочков торить свой путь через два мира сразу, пересекать пороги и смотреть на этот Мир из того, а на тот – из этого. Обняла она его еще крепче, заплакала еще горше, думая о том, какие тропы исходил ее сынок, когда исчезал трижды, ведь были они не в Мире, а в не'Мире, и дрожь прошла по ее телу от того, что – пусть и лишь в мыслях – так сильно приблизилась она к смерти.

Но вскоре после этого женщина должна была познать смерть не только в мыслях, но и на деле. Это случилось ранним зимним утром, когда промерз даже воздух, и в душе у нее поселилось темное предчувствие. Главной площади Гайстерштата достигло известие: новая крепостная стена, над которой вот уже много месяцев трудились мужчины и юноши, рухнула вместе с возведенными лесами и погубила четырнадцать душ. Тотчас же страх угнездился в сердце матери Тауша, потому что муж ее еще с вечера отправился на стену, помогать строителям.

Тяжелая ночь, глаза болят от бессонницы, руки ослабели – и вот случилось несчастье. Ринулась женщина, словно мысль, от которой сама пыталась сбежать, на край города, и там начала звать мужа. Сосчитала мужчин, как могла в испуге, и принялась шарить взглядом в отдалении, поднимала камни то тут, то там, помогала разбирать леса, но через два часа поняла, что ее супруг, ее любимый и самый дорогой в целом свете друг погребен под грудой камней и лежит где-то внизу, как дождевой червяк в засыпанной яме. Она потеряла сознание.

Ее привели в чувство женщины, такие же внезапно овдовевшие и заплаканные, помогли подняться и сказали, дескать, сынок пришел. Так и было: маленький Тауш стоял на огромном валуне, который вывалился из

городской стены, словно от удара невидимого кулака, и поспешно тянул шнур из пупка – тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, тянул и рвал, четырнадцать раз потянул и оторвал. Потом он разложил шнуры на камне перед собой и уставился на них в задумчивости, такой печальный, каким еще ни разу не бывал ребенок семи лет от роду. Четырнадцать шнуров, не принесших пользы, и прям в дрожь бросает от ужаса и скорби, дорогой мой странник, когда думаешь о тех четырнадцати мужчинах: все до одного стали они товарищами по непрожитым жизням с женами и детьми, по старости, которую не познали, и толпятся теперь на пороге между мирами – ни тебе туда, ни тебе сюда, все в пыли и с раздробленными костями, в тесноте, но притом одинокие. Женщины взяли шнуры на память и похоронили мужей. И вот почему той серой зимой Гайстерштат погрузился в траур.

Наш Тауш тоже пребывал в трауре. Лицо осталось печальным, грусть стояла в глазах, но он заговорил. Мать глазам своим не поверила, когда как-то раз вышла во двор и увидела, что вокруг маленького Тауша собралась толпа – там были старые и молодые, женщины и мужчины, все соседи, и они слушали, разинув рот, ловя каждое слово.

– Женщина, – сказали собравшиеся чуть ли не в один голос. – Твой Тауш – просто чудо с головы до пят! Послушай и ты, как славно он рассказывает.

И действительно, самые пожилые из жителей Гайстерштата бормотали себе в бороды, что за всю свою долгую жизнь – даже от дедов и прадедов! – не слышали таких историй. Я там тоже был, и все хорошо помню – ты слушай меня внимательно, ведь теперь-то я точно знаю, что к чему, – Тауш рассказывал истории из другого мира, предания, которые он принес оттуда, где люди – не люди, а Мир – не Мир, но нечто большее и одновременно намного меньшее. Где-то там Тауш их собирал и пересказывал горожанам, переделывая так, чтобы мы всё поняли, а иначе у нас бы уши в трубочку свернулись.

Зима прошла, как она всегда проходит, хочешь ты того или нет, прошел и год, принес с собой новых людей и унес за собой новых людей, как оно всегда случается, хочешь ты того или нет. Тауш сделался лучшим рассказчиком Гайстерштата, и горожане столько всего услышали за два года после того, как рухнула стена, что прожили тысячи жизней, не состарившись, а потом мальчику пришло время уходить в лес. Ученики Мошу-Таче ⁴ появились у крыльца его матери, когда исполнилось Таушу десять, и сказал Дед чужими устами: отдай сына мне, я послал за ним.

Но тут, дорогой мой странник, наступает ночь, и надо нам устроить привал вон у тех скал, видишь? Дам я отдых своим костям, а ты – плоти своей, чтобы завтра отправиться в путь бодрыми и сильными, охочими до новых историй.

⁴ *Мошу-Таче* (рум. Moșu' Tace) – в буквальном переводе «Дед Молчун».

* * *

Скелет Бартоломеус Костяной Кулак остановил кибитку под сенью старых скал, а потом развел костер из хвороста, собранного одноглазым путником. При свете луны сели они у огня и прислушались к ночным звукам.

– Прекрасный мир открывается ночью, когда прячется тот, что существует днем, – сказал Бартоломеус и зажег длинную трубку.

Густой и тяжелый дым с древесным запахом выходил из-под складок его одежды, вырываясь меж костями, и скапливался над весело горящим костром. Путник открыл дорожный мешок и разложил на земле еду: кусок хлеба и пастрому, флягу с пивом и яблоко; он предложил Бартоломеусу угоститься, но скелет впал в странную задумчивость и продолжал посасывать трубку, не говоря ни единого слова, до того момента, когда полночь осталась далеко позади. И сказал он так:

– Теперь, славный путник, я надеюсь, что моя история тебе пришлась по нраву, ибо я еще многое могу поведать, и было бы жалко обрывать рассказ прямо сейчас, когда ты узнал про рождение и детство того, кто основал город, куда мы оба направляемся, словно два старых друга, хотя познакомились только что. Мы оставили маленького Тауша на распутье между матушкой и Мошу-Таче – нехорошо, если забудем о нем и продержим там слишком долго в забвении. Завтра снова отправляемся в путь, и с нами оживет история – вот так миры порождают миры, а жизни – новые жизни. Но где есть Мир, там и не'Мир, а где жизнь – там и смерть, и человек ко всему готов. Так давай же мы с тобой отдохнем и приготовимся к тому, что нас ждет. Закрывай, значит, свой единственный глаз, дорогой мой пилигрим, и отдохни до утра, а я посижу за огнем и за тем, чтобы ты расплатился за путь и историю именно так, как мы и столковались.

И человек, растянувшись возле костра, тотчас же уснул в тепле. Бартоломеус Костяной Кулак склонился над ним и в ту первую ночь путешествия пилигрима и скелета к Альрауне заплатил путник за первую часть пути. Бартоломеус начал снимать плоть с ног мужчины – сначала с левой, потом с правой, неторопливо, вдумчиво, и в каждом надрезе, который он делал, чувствовался опыт многих лет, десятилетий, веков. Каждая мышца, большая и малая, каждое сухожилие и вся кожа – от ягодиц до пят – покинули кости, которые облекали, и проворными пальцами Бартоломеус заботливо перенес все на собственные ноги. Ночь напролет трудился скелет, обдирая ноги пилигрима, и тем самым взимая с него первую дорожную плату, которую установил сам.

Когда взошло солнце над древними скалами, разбудил Бартоломеус пилигрима и, забравшись снова в кибитку, опять пустились они в путь к городу святого Тауша. Добрых два часа глядел путник только вниз – то на собственные кости, то на свежую плоть на ногах скелета, глядел и глядел, ни слова не произнес, пока не начал Бартоломеус вновь рассказывать историю маленького Тауша с того места, где остановился прошлым вечером. И вот что он рассказал...

Часть вторая В которой узнается...

Глава четвертая

В которой мы узнаем про Мошу-Таче и его учеников, о том, как Тауш начал с ними жить, и еще о бедолаге Данко Ферусе; маленький святой творит мир

Все в Гайстерштате и не только слышали про Мошу-Таче, но мало кто видел его собственными глазами. А вот кого люди видели, причем не раз, так это его учеников, которых можно было легко узнать с большого расстояния: мальчики и парни в возрасте от десяти до восемнадцати лет, бритоголовые, зимой и летом – в серых одеждах ордена и кожаных сандалиях, которые мастерили собственными руками. Они ходили группками по двое-трое, изредка в одиночку, вечно погруженные в непонятные раздумья; целеустремленно рыскали по рынку в поисках съестных припасов, собирали травы вдоль стен или шли сами не зная куда, получив во сне указания от своего древнего учителя. Я это говорю, дорогой мой путешественник, потому что сам был одним из них в юности, и более того – оказался в числе посланцев, что явились в тот день, неся в мыслях и нутре желание славного Мошу-Таче сделать маленького Тауша одним из нас, ибо о маленьком святом теперь говорили на всех ярмарках и в каждом медвежьем углу.

Мы с еще двумя братьями вышли из кодр⁵ и явились в Гайстерштат, где на нас глядели с любопытством, а девушки – пылко, потому что были мы парнями крепкими и ладными, привыкшими к труду и телом, и умом, но нам даже в голову не приходило ответить на призывные взгляды смуглянок, ибо во сне получили мы строгий наказ привести Тауша к Мошу-Таче, а взамен оставить его матери яйцо. Я не знал, что задумал Мошу и для чего требовалось яйцо, но прижимал его к груди, и когда женщина открыла дверь, протянул ей. Я и сейчас не знаю, но оно давным-давно испортилось... Обрадовалась мать Тауша, что нашел он свое место в жизни, ибо после всех его уходов, с предшествующей немотой и нынешними рассказами, которые он рождал один за другим, мальчик так и не пошел в школу. И еще знала женщина, как знали все матери по всей Ступне Тапала в те времена, что если властителю с другого берега Слез Тапала придет в голову затеять войну и на этом берегу, ее мальчик спасется только рядом с братьями, в лесу.

– Мошу-Таче узнал, какая благодать снизошла на Тауша, – сказал один из учеников, – и считает, что должен мальчик занять свое место у его ног. Примите это яйцо взамен и ни в чем не сомневайтесь.

Я отдал яйцо, и женщина начала плакать слезами горя и радости одновременно; радости, потому что вот и Тауш наконец-то нашел свое призвание в Мире, как любой молодой и красивый мальчик, а печали – потому что оставалась она одна в доме, и перед глазами у нее опять встало раздавленное тело мужа, как будто возник он там, на пороге, рядом со всеми, перемолотый упавшими камнями.

Тауш позволил себя увести и всю дорогу повторял, что прошло слишком много времени, что он уже давно ждал братьев. А мы молчали и думали все как один, до чего странного мальчугана ведем к своим – разговаривает с букашками, лечит домашнюю птицу и направляет людей в смерти. Сильный ребенок. Но мы знали, что Мошу-Таче мудр, и еще знали, что все будет хорошо. Оно и было. До той поры, пока не перестало.

Мошу-Таче и его ученики жили в Деревянной обители в лесу возле Гайстерштата. Никто понятия не имел, когда именно старик появился в этих дебрях и чем занимался раньше. Уче-

⁵ Кодры (рум. codru) – особый термин для обозначения большого, густого и старого леса (рум. pădure).

ники приходили к нему в десять лет и уходили в восемнадцать, вступая на путь через равнины с определенной миссией для каждого; но об этом позже. И так далее, и тому подобное. Нас было мало, не больше тридцати мальчишек и парней, и мы заботились о нашей маленькой обители, а с ней – обо всем Мире. Вижу, как ты от нетерпения аж подпрыгиваешь, хочешь, чтобы я рассказал тебе про житье-бытье у Мошу-Таче, и я расскажу. Ведь мы так и договорились, дорогой мой одноглазый путник.

Эх, пилигрим, тяжело нам было. Ученики приходили туда мальчишками, как я уже говорил, в возрасте десяти лет – детьми, которые только начали созреть, – а уходили мужчинами, широкоплечими и мудрыми, в свои восемнадцать, за каких-то восемь годков, изучив столько, сколько другие не успеют и за восемьдесят. Спали в маленьких деревянных бараках, но только с тринадцати лет, а до той поры дремали, как могли, пару часов на рассвете в маленькой яме, вырытой в земле, покрытой хворостом и листвой, мхом и навозом. Там дрыхли с шести утра до девяти. Только представь себе, путник, как дорог сон десятилетнему сопляку, который всего-то три часа в день может преклонить голову, а все остальное время должен лишь трудиться. Поначалу, в первый год, каждый спал как мог то в кодрах, то на кухне; а когда доходило до края, любой валился там, где настигал сон, так-то. Тут же появлялся кто-то из старших и лупил тебя палкой по спине, по ногам, так что потом ты уже не мог лежать от боли, даже если бы разрешили. Но всякий из нас через некоторое время к такому привыкал, ведь человек привыкает и к хорошему, и к плохому.

На самом деле было не только плохое, нет, и никто не пытался сбежать. Мы стали друг другу братьями, у нас появились свои радости. Мы поднимались в девять и ложились в шесть, и жили все вместе, и не было такого, чтобы мы что-то делали врозь. Открывали глаза и расходились кто куда, согласно своим обязанностям и месту – кто в хлев, кто на кухню, кто в сад, кто на рынок за съестным. Тауша отправили в хлев, а куда ж еще? Там он заботился о корове, о свиньях и о нескольких курицах, какие были у учеников. Его товарищем стал Данко Ферус, мальчик из народа лошадиников, который заботился о конях братства. Кони так к нему тянулись, словно он понимал их язык, как Тауш – язык букашек-таракашек. Два ученика сразу подружились и в кодрах повсюду ходили вместе: Тауш и Данко, те, кто разговаривал с животными.

Но когда наступал вечер, и кодры окутывала тьма, все мальчишки собирались в хижине Мошу-Таче, разводили огонь, рассаживались вокруг очага и погружались в усталые размышления, воспоминания и тоску по дому, испытывая тревоги возраста. Сидели ученики, молчали, и только дрова потрескивали, умирая, а примерно через три часа, когда все, кто живет днем, засыпали, а все, кто живет ночью, пробуждались, открывалась дверь в дальней части хижины, выходили два ученика и раздвигали плотные гобелены на стенах, открывая свету от очага самую прекрасную из библиотек, какие только можно измыслить умом и увидеть глазами. Послушай: ряды за рядами книг, переплетенных и тщательно скопированных умелыми руками учеников на протяжении сотен и сотен лет. И вслед за этими двумя учениками выходил Мошу-Таче, с трудом ступая под гнетом прожитых лет да изведанных печалей – был он лысым, маленьким и иссохшим, как забытая в погребе слива, до горла укутанным в серые одежды, со слепыми очами и немым языком.

Садился дед на свое, почетное место, и ученик вставал на колени рядом. Мы все молчали и слушали, зная, что должно произойти. Один из двух учеников – не тот, что стоял на коленях, а другой – произносил лишь эти слова:

– Открывайте и пишите!

И мы открывали и писали то, что слышали. Мошу-Таче клал изъеденную течением веков руку на бритую голову мальчика, стоящего на коленях, и ученик начинал повествовать сухим, точно каменный скрежет, голосом старика (мудрость мертвеца) очередную историю, которая заканчивалась не раньше зари, к шести часам утра, когда ученики начинали мастерить для нее

переплет и обложку. Мошу-Таче возвращался в свой мир еще на день. Одну книгу ставили на полку в хижине, остальные уносили в лес – а это, да будет тебе известно, была моя забота, – к источнику у подножия скалы, где возница, всегда один и тот же, ждал, чтобы унести истории старого Мошу-Таче и его учеников в огромный мир, во все места, виданные и невиданные.

И так прошли годы, и исполнилось Таушу тринадцать – теперь ему больше не нужно было спать в яме, ему приготовили мягкую постель и разрешили спать до обеда, пока другие, новенькие и молоденькие, трудились вокруг. Но не раз оказывалась та кровать пустой, а Тауш спал в старой яме, потому что слишком тяжело ему было расстаться со сном во влажных недрах земли, под шепот дождевых червей, в объятиях корней. Поколотили его раз, другой и третий как следует, пока не полюбил наш Тауш свой деревянный лежак и соломенный тюфяк.

Братья его любили, но еще немного побаивались, да-да, слушай меня, мы боялись, потому что знали его силу, его дар, и еще прослышали, что он трижды покидал этот мир, а где был – никому неведомо, и, хотя Тауш уже мог говорить, что и делал сильным и приятным голосом, он так и не поделился с братьями тайной о том, где обитал, когда его тут не было. Много раз его просили о помощи: то принести из дома весточку на крыле какой-нибудь букашки, издалека, то позаботиться о щеночке, которого кто-то тайно приютил, а в тот раз, когда малыш Ханске упал с самого высокого дерева в лесу, Тауша взяли на руки и спешно отнесли к умирающему. Тауш снял рубаху и вытащил из пупка шнур в первый раз с того дня, как покинул маму, то есть за четыре года. И Ханске умер, но, по крайней мере, не в одиночестве.

Время от времени, когда удавалось пораньше закончить труд в хлеве, Данко седлал одного из коней, и они вдвоем с Таушем уезжали куда-нибудь на равнину, мимо стены, теперь уже отремонтированной, которая выдернула отца Тауша из этого мира без шнура на запястье, и ездили несколько часов по одиноким хуторам и селам, думая о том, что однажды наступит день, когда Мошу-Таче отправит их в Мир, строить города. Для отдыха выбирали какое-нибудь село, с колодцем покрупнее или смуглянкой помилее. Возвращались всегда вовремя к ночной церемонии, всегда были на месте в нужное время, с перьями и бумагой наготове. Выходил Мошу-Таче, отрезанный от этого мира слепотой и молчанием; ученик-голос повествовал вместо него. Весь Гайстерштат знал, что благодаря ученикам и рассказам Мошу-Таче наступает в Мире новый день, ибо, как говорили, старик в своих историях раз за разом творил очередное утро, а без него тьма поглотила бы Мир, солнце позабыло бы о том, чтобы взойти из-под земли, а у тех, кто притаился среди теней – а их много, путник, их легион! – начался бы вечный праздник. Потому-то горожане и приносили съестное и прочие нужные вещи, оставляли их каждую неделю на большом столе перед деревянной обителью в лесу, стараясь никоим образом не потревожить покой отшельников.

Разговаривал ли я с Таушем, спрашиваешь? Конечно, и не раз. Мы даже были товарищами на пути к Мандрагоре, вот как мы с тобой сейчас на пути к Альрауне, но об этом позже, ибо пришло время рассказать тебе о зазнобе Тауша.

Глава пятая

В которой мы узнаем о смерти духов и о зазнобе Тауша, а также о том, как они скрываются, ворюя мгновения, чтобы насладиться друг другом; Тауш исцеляет кошку и заглядывает за облака

Едва исполнилось нам по пятнадцать лет, как Мошу-Таче через ученика, что служил ему голосом, поручил всем отправляться в Гайстерштат по очереди каждые десять дней, чтобы помогать там, где возникнет нужда. Обрадовались ученики, что смогут чаще видеть родных, обрадовался и Тауш. Когда пришел его черед, влетел он в город и в объятия матери, которая очень обрадовалась и накормила его плациндами до отвала.

– Ты еще говоришь с букашками, дитятко мое? – спросила его женщина, и Тауш ответил, что да. – И зверей лечишь, дитятко мое? – спросила женщина, и Тауш ответил, что да. – И шнур по-прежнему выпрядаешь из пупка, дитятко мое? – спросила она, и он сказал, дескать, да. – Ах, маленький мой, отец бы тобой очень гордился.

И Тауш сказал, что так и есть, потому что он видел отца на пороге – не пороге дома, а пороге Мира. Видел не раз и знал, что отец одной стороной лица смеется, от гордости и любви к Таушу, а другой плачет, от тоски и боли в пояснице.

– Но почему у него болит поясница, дитятко мое? – спросила женщина, дрожа от ужаса, потому что рассказ Тауша очень ее испугал.

– А у тебя бы она не болела, мама, если бы ты целую вечность стояла на пороге?

– Болела бы, мальчик мой...

– А там ведь еще и порог между двумя мирами, где вечно сквозит, – закончил Тауш и опять принялся уминать плаинды.

Как же было славно, когда Тауш приходил в город, чтобы помогать там, где попросят. Дойдя до своей улицы, он целовал мамины руки и садился на огромный валун; ждать приходилось недолго, потому что сразу приходил кто-нибудь с недужной скотиной, или его самого вели к какому-нибудь больному дедушке. Становилось хорошо у них на улице, когда появлялся Тауш, потому что с ним приходили тишина и спокойствие, напоминая о том, каким делался Гайстерштат, когда Тауш творил чудеса.

– Как там в лесу, Тауш? – спрашивали детишки. – Где ты был, когда тебя тут не было? – спрашивали девушки. – А что вы там делаете в хижине по ночам? – спрашивали старики.

Тауш пытался их прогнать, словно стайку бабочек, было много смеха и веселья, но он им так ничего и не сказал.

Однажды пришел он в город на рынок по каким-то делам и увидел глашатая призраков: тот вышел на площадь и, как обычно, помахал руками, чтобы люди освободили место для его незримой свиты; рассек толпу надвое и исчез, отправившись неизвестно куда. Тогда Тауш побежал к матери и увел ее в сторону от всех. Закрылись они в доме, и он попросил ее присесть.

– Мама, что-то плохое случится – я это вижу, знаю, чую, слышу.

– Ой-ой, – ответила она, – что же ты видишь, знаешь, чуешь, слышишь?

– Глашатай ходит один по городу, машет руками, чтобы ему освободили место, ему и Совету мертвых, но он один, а люди об этом не знают. Никому не говори, потому что народ испугается, но ты, мама, берегись лжи. Духов из Совета больше нет, и по собственной воле они ушли или кто-то их прогнал, хорошего в этом нет ничего. Что-то поднимается и готовится, разминает плечи – я слышу, как оно отряхивает свой наряд, я его вижу. Что-то началось, мама, и глашатай об этом знает.

Я все это тебе рассказываю, дорогой путник, в том виде, в каком узнал в Лысой Долине от святого Тауша во время долгого нашего паломничества в Мандрагору, где все было сказано и все было сделано. Но об этом позже. Теперь слушай.

Мать Тауша поняла, что сказал ей сынок, и ничего никому не говорила, но береглась всего и всех, как и пообещала. Потом, недолгое время спустя, увидел Тауш Катерину – и девица украла его сердце, от чего страх великий охватил юного святого: полюбил он ее так сильно, что сама мысль о том, что ее может погубить тьма, надвигающаяся всякий раз, когда он далеко, лишала его сна и покоя. Он представлял себе, как она стоит на пороге одна и плачет, ведь что такое любовь без страха смерти? А Катерина ни о чем не знала, ей даже неведомо было, что есть на свете такой Тауш, потому что она недавно приехала в Гайстерштат, и родные оберегали ее от городских слухов.

Но как-то раз, проходя мимо большого валуна, где сидел Тауш и ждал, опустив глаза – ведь именно так встречают любовь, – она спросила, что он ищет и кого ждет. Тауш, не поднимая глаз от дорожной пыли, ответил искренне: ничего не ищет, но ждет – всего.

– Я предлагаю городу свои услуги, госпожа моя, вот что я делаю, – ответил он.

И тогда девушка спросила, что он умеет делать и сколько это стоит.

– Умею разговаривать с насекомыми, госпожа моя, и это ничего не стоит.

Катерина, думая, что он шутит, засмеялась.

– И какой мне от этого толк? – спросила.

– Можно узнать, когда из земли явится зло, а с небес – благо, – ответил Тауш, и девушка вздрогнула.

– Ты какой-то мрачный, мальчик, и немного грустный. Что еще ты умеешь делать?

– Я знаю, как ухаживать за животными в доме или в саду.

– Это хорошо, – сказала Катерина. – И как ты это делаешь?

– Я с ними разговариваю и измельчаю жизнь вокруг них пальцами – вот глянь, так ими двигаю; а потом посыпаю этой жизнью зверя, и тот выздоравливает.

И девушка снова испугалась.

– А еще что ты умеешь, мальчик-тень?

– Умею выпрядать шнур из пупка. Умею встречать мертвеца на пороге в мир иной.

Тут бедняжка совсем перепугалась и ушла своей дорогой, обуреваемая дурными мыслями. Через несколько часов, вернувшись домой, она обнаружила валун пустым: парнишка исчез. В это самое время Тауш глядел на нее из окна материнского дома, и мать, тайком подойдя к нему сзади, поцеловала сына в макушку.

– Вырос мой мальчик, – проговорила она. – Еще два года тебе жить в кодрах, дорогой, а потом отправишься ты в мир, чтобы им насладиться.

Но сказал святой:

– Нечему в этом мире радоваться, мама, потому что другой мир его застит...

Дни шли за днями, и Тауш, как все прочие ученики, то записывал истории в Деревянной обители в лесу, то писал свою собственную в городе на равнине. Вероятно, сказанное им очень взволновало девушку, потому что теперь, стоило святому объявиться подле валуна, как вместе с толпой приходила и она – молча слушала его рассказы, переживая приключения духа и тела. Тауш не смел искать ее взглядом среди многих – боялся, что не найдет. Но он чувствовал ее присутствие, и это было хорошо. Оба они трепетали, словно в ознобе, безмолвные, как деревья на ветру в самом сердце лесной чащи – те, о чьем колыпании ветвями никто не ведает.

Так прошел год, и вот как-то раз, когда все побрели по домам, а Тауш спешил вернуться в лес, Катерина его остановила.

– Тауш, – сказала она, – кошка моя покалечилась, ты бы пришел взглянуть на нее. Придешь?

– Приду.

И они оба пошли во двор Катерины, где в корзинке лежала без сил и жалобно мяукала пятнистая кошка. Тауш начал шевелить пальцами и бормотать что-то себе под нос, и вскоре вывихнутая лапка встала на положенное место. Катерина его поблагодарила и схватила за руку. Их губы встретились и уже не расставались, пока девушку не позвали в дом. Катерина вырвалась из объятий и хотела убежать, но тут уже Тауш ее остановил.

– Ты нехорошо поступила, – сказал святой.

– Но разве я это сделала одна? – удивилась Катерина. – Разве ты не поучаствовал?

– Я не об этом, и ты все знаешь.

И, поцеловав ее в лоб, он ушел, а Катерина осталась, сгорая от стыда и со слезами на глазах: она сама скрутила кошке лапу, только чтобы вырвать у святого поцелуй. Но ведь любовь такая и есть, верно, пилигрим? Вечно безрассудная.

Десять дней провела бедняжка как на иголках, спрашивая себя, увидит ли она когда-нибудь Тауша снова, но святой вернулся и простил ее за содеянное, потому что тот поцелуй над кошкой творил и разрушал миры, и все за него прощалось. В тот вечер опоздал он к Мошу-

Таче и был жестоко наказан, потому что, говорили ученики, без него Мир оказался не полностью готов к грядущему дню, и совершенно точно где-то остались клочки земли и воздуха, а также люди, растения и звери, которые за ночь не успели, и теперь человек мог угодить в пустоту, а пустота – в человека. Но, несмотря на суровую кару, все десять дней, которые Тауш провел в дупле дерева, постясь, потому что есть он мог только древесную кору, а пить – только дождевую воду, думал он не про искалеченный мир снаружи, над которым день за днем трудились ученики, но про тот новый, что рождался в нем – правильный, охваченный неутомимым кружением лавы, – и единственное имя звучало в тишине дупла по ночам: Катерина.

Когда Тауш вернулся в Гайстерштат, девушка ждала его, опершись о валун.

– Вся улица по тебе скучала, – со стыдом проговорила она.

– Как там кошка? – спросил Тауш. – Живая?

– Живая.

– Здоровая?

– Здоровая.

– Тогда выше нос, – сказал Тауш, – и не стыдись больше. Я пришел пораньше, чтобы поговорить с тобой, пока не понадобится другим.

– Тебя здесь очень любят, – сказала Катерина. – Я хотела попросить прощения.

– Мне тебя прощать не за что, Катерина. Кошка пускай простит.

– А как ты думаешь, она сумеет?

Тауш попросил принести кошку. Подержал ее в руках, погладил – зверюшка замурлыкала.

– Она меня простила, Тауш?

– А куда ей деваться? Конечно, простила. Она кошка, она уже все позабыла.

– Я-то не забыла... – сказала девушка, потупившись, но святой взял ее за руки и сказал, что тоже не забыл. И оба поняли друг друга.

Затем жители Гайстерштата собрались, чтобы разговорить Тауша, послушать его истории о том о сем, попросить его освежить содержимое кладовок, срastить кость или заживить язву, спрясть шнур – просто так, без повода, чтобы и малыши увидели, какие в мире бывают великие чудеса. Тауш делал, что просили, кроме шнура, потому что со смертью человеческой не шутят. Но все это время святой думал о Катерине, а Катерина – о святом.

В смысле, откуда я об этом знаю? Я же Бартоломеус Костяной Кулак, именуемый также Бартоломеусом Всезнающим, и если я чего не ведаю, но об этом повествую – значит, так оно и было. А раз было, потому я о нем и рассказываю. Слушай!

Мать Тауша очень радовалась, видя рядом с сыном такую красивую девушку, ведь чего не замечает обычный человек, то его мать видит в десять раз острее. Она собирала в саду цветы и плела венки, пекла булки с кунжутом и заморскими финиками, чтобы тайком подарить влюбленному, заботилась о том, чтобы гнать чужих со двора, оставляя парочку в одиночестве, ибо на это есть право у тех, кто влюбился: быть наедине. И тогда Тауш и Катерина брали дареные булочки и убегали через лес к ручью недалеко от Гайстерштата, чтобы читать в далеком небе и облаках свою судьбу.

– Что по ту сторону голубых небес, Тауш? – спрашивала она, и он отвечал: Катерина. Девушка смеялась.

– Ну как же так, Тауш? Катерина – это я, и я здесь! Рядом с тобой.

– Я тебе правду говорю, малышка, Катерина на небесах. Другая Катерина лежит на траве рядом с другим Таушем, и булку они наполовину съели, и девушка спрашивает парня, что там, внизу, по ту сторону голубых небес.

Она рассмеялась и сказала, дескать, вечно Тауш говорит какую-то ерунду, только шутит и насмехается.

– Бабушка говорит, над Миром властвуют святые, монстры и боги.

– Бабушка твоя – старая карга, которая выжила из ума, – промолвил Тауш. – Как придет ее время, позови меня, оделю ее шнуром.

– Злюка! – вскричала Катерина, но вместо пощечины поцеловала его – легким был тот поцелуй, теплым и мягким, как рассвет над ликом святого, подобным Миру (глаза – озера, нос – горная цепь, рот – пропасть, дыра в не'Мир, потому что исходили из той дыры лишь всякие безумства).

– Святые и боги здесь, Катерина, а не там. Я вот святой, а мама моя – богиня. И чтобы ты знала, боги тоже умирают, потому что отца у меня отняла крепостная стена; его частицы остались на камнях, которые потом в нее обратно вставили. Мой отец – бог крепостных стен Гайстерштата. А монстры? Они тоже здесь, среди нас, дорогая Катерина. И они приближаются, так что поберегись.

– Ох, Тауш, вечно ты меня пугаешь!

И она обняла его крепче, поцеловала горячее, ибо такова любовь: где радость, там и страх, и нигде в Мире смерть не ощущается так остро, как в любви.

– Как же мне уберечься от зла, Тауш, когда ты в лесу и покинешь его только через год?

Но Тауш не ответил, и по лицу его пробежала тень. Катерина взглянула в небо – уж не облачко ли там пролетело? Но ничто не омрачало синеву, и девушка вздрогнула, подумав, что это могла быть тучка с другой стороны небосвода, где другая Катерина переживает из-за другой любви к другому Таушу, а тот страшится чего-то, известного ему одному. Их беспокойный покой потревожил стук копыт: Данко Ферус мчался к ручью галопом, вид у него был встревоженный и подавленный.

– Так и думал, что найду тебя здесь, брат, – сказал Данко, останавливая коня возле парочки. – Здравствуй, девушка, – прибавил он, и Катерина поспешно, со стыдом отряхнула подол юбки от крошек. – Я пришел избавить тебя от хорошей трепки, Тауш, – продолжил Данко, повеселев, – или ты уже возлюбил то душло?

Тауш рассмеялся и сказал, что не зря считал его своим лучшим другом.

– Садитесь, – велел Данко, и полетели все трое через лес к Гайстештату, где они оставили девушку у ворот, а сами поехали к Мошу-Таче и Миру, еще не возникшему посреди ночной тьмы. Тауш грустил, расставшись с Катериной, но мы-то знаем: там, где есть хоть капля любви, пусть и бесконечно малая, простирается океан вечности, бесконечно глубокий. Люби, пилигрим, а не то истечет твой срок и окажется, что жил ты зря!

Глава шестая

В которой мы узнаем про крысолюдов из леса; но немногое, а то вдруг они подслушивают (рассказано на одном дыхании)

И вот как-то раз, когда в четыре утра Мошу-Таче со своими мальчиками продирался через очередную историю, сильно переживая, что Мир все не желает проступить из небытия, начали в лесу появляться крысолюды, и этих тварей, размером с человека, ходящих на задних лапах, выпрямив спину, да в людских одеждах, то тут, то там стали замечать ученики, и один из них, пустившись следом за таким видением, обнаружил в самом сердце чащи место, которого не было, и поспешил обратно к Мошу-Таче, чтобы все узнали про похожую на рану дыру в лесу, которую кто-то или что-то держит отверстой, и явилось из нее зло, но хватит пока что про крысолюдов из дебрей лесных, путник, а то вдруг они притаились и подслушивают...

Глава седьмая

Она будет подлинней шестой, и опять про любовь; Тауша обуревают чувства, предчувствия и боязнь за Катерину

Целый год продержалась любовь между Таушем и Катериной, целый год влюбленные как могли по крупицам собирали то, что было им дорого. Один раз в десять дней их сердца расцветали от чувств. В такие дни Тауш трудился в Гайстерштате изо всех сил, чтобы быстро и хорошо разобраться со всеми просьбами, которые должен был выполнить, а оставшуюся часть дня проводил в объятиях Катерины, целуя ее, припав к ее груди. Они бродили по равнинам и тайком перебирались через мосты, тянулись друг к другу, как измученные жаждой звери к роднику в разгар лета. Они и были нетронутыми источниками, с прозрачными и холодными водами, оврагами глубокими, горячими и мягкими, бархатными холмами, увенчанными дерзкими алтарями, которые наливались силой и вспыхивали ярким пламенем от любого призыва, мостами через бурные воды и башнями из лавы, что из земли устремлялись в небо, пронзали плоть и душу, но не лезвием ненависти, а иглой любви.

Те немногие дни в Гайстерштате сделались слишком коротки, поэтому девушка начала по ночам, ближе к рассвету, тайком выбираться в лес, чтобы подождать, пока ученики выйдут из хижины деда. Она пряталась за каким-нибудь замшелым пнем и тихонько подзывала Тауша во тьме. Вставало солнце, парни отправлялись спать – но не Тауш, который брал за руку Катерину и убегал с нею к яме, которая несколько лет назад служила ему постелью, и, укрывшись хворостом и мхом, обнимались они в прохладе земной и любили друг друга, как два прорастающих зернышка. Снимая одежды слой за слоем, обнажала созревшая девица свою плоть, и тело ее так страстью пылало, что шел от него пар – да разве мог святой такому сопротивляться хоть какой-то своей частью? Смуглянка Катерина что-то высасывала из него, но вместо того, чтобы увядать, наш Тауш расцветал.

Но время от времени на Тауша накатывала печаль, и, приходя в город, он на некоторое время задерживался у мамы, рассказывая о том, что происходит за пределами Мира, и о своем отце, застрывшем на пороге.

– Я бы встала на его место, Тауш, – сказала женщина, – если бы только могла. А ты бы мог, мальчик мой, помочь? Ты бы мог такое для меня сделать? Я бы осталась вместо него на пороге, а его бы вытолкнула в этот мир или в тот, неважно, в какой, лишь бы он попал куда-то, а то ведь дует там, маленький мой, и толкотня большая.

Но Тауш молчал и печалился не только о том, что было, но и о том, чему суждено было случиться.

– Ты можешь, Тауш, ты можешь позволить мне умереть, не привязывая к моей руке свой шнур? Ну скажи мне, ты можешь?

– Не могу, мама.

– Почему, Тауш? Даже если я тебя умоляю?

– Ни за что на свете. Потому что у любого святого должен быть бог, а ты моя богиня; только ты у меня и осталась. Как печален мир святых, оставленный богами...

Они плакали, обнимались и плакали еще некоторое время.

– Тебе хорошо с твоей девушкой, Тауш?

– Хорошо, мама, но так будет не всегда.

– Почему ты так говоришь, сынок? Пройдет еще несколько месяцев, твое ученичество закончится, и ты уйдешь; помани мое слово, уйдешь вместе с нею. Потому что в пустыне хорошо иметь товарищей, но лучше – жену.

– Может и так, мама, не знаю, – ответил Тауш. – Но Катерина не будет моей женой.

И знай, путник, что в тот самый вечер, как рассказал мне Тауш, когда мы блуждали по пустоши, он спрял и запрятал в надежном месте, о котором знал лишь сам, шнур Катерины.

– Зло начало проявлять себя, – сказал он матери. – В лесу появились крысы размером с человека, и они мешают истории Деда, не дают ей вырасти и окрепнуть.

– И Мир разваливается на части? – спросила женщина.

– Да, мама, есть в лесу такое место, которого нет – ни здесь его нет, ни там, но через него выходят эти гады, и никто не знает, что им нужно.

– И вы с ними не справляетесь?

– Мы пытаемся, мамочка. Мы рассказываем историю, размножаем ее и рассылаем повсюду, но дыра, похоже, не уменьшается, а все сильнее растет – и я, кажется, знаю почему.

– Почему, дитяtko мое?

– Я думаю, что по ту сторону дыры, – сказал Тауш, – некий дед с учениками начали сами рассказывать историю, только вот повествуют ее шиворот-навыворот.

– Надо их остановить, Тауш, – сказала женщина, но сын ответил ей вот что:

– Почему, мама? Кто может сказать, что мы правы, а они ошибаются? Кто знает, чья история хорошая и правдивая – та, которую рассказали от одного конца к другому, или та, которую рассказали наоборот?

Потом Тауш вышел из дома на улицу, к людям, и улыбка Катерины стерла его тревоги.

Будь терпелив, путник! И туда доберемся. Теперь слушай.

Пара любила друг друга тем сильнее, чем ближе был тот день, когда Тауш должен был завершить ученичество и ему бы разрешили отправиться в странствия по Ступне Тапала. Мы все ворочались в кроватях на заре, размышляя, куда пойдем и какие чудеса встретим на своем пути. Вот и я, дорогой путник, представлял себя отшельником, основателем городов, которого будут любить и бояться, и который будет по ночам творить истории, чтобы Мир возник из темноты. Другие – кому, как Таушу, выпало повстречать свою зазнобу, – о таком и слышать больше не хотели, а думали только про женитьбу, про детей, приданое и дома; все это тайком, чтобы не услышал Мошу-Таче, который сильно гневался и печалился, дескать, слишком легко люди отказываются от даров, какими, к счастью, наделены его ученики. Но не Тауш, который, хоть и была у него Катерина, ни разу не заговорил о других путях, кроме пути отшельничества, как будто знал заранее, что для него это единственная дорога, по которой он и будет идти, стирая подошвы в кровь, пока пятки не сделаются твердыми, как рог.

В один из последних дней служения учеников Гайстерштату Тауш пришел в город и отправился в дом Катерины, где попросил разрешения встретиться с ее отцом. Сердце девушки запрыгало, словно молодой конь при виде первой кобылицы, и, пробежав по коридорам дома, обняла она служанку, рассказала ей, что Тауш наконец-то решился – святой пришел просить ее руки.

– Неужто он откажется от тайн своей святости ради любви, госпожа Катерина? – спросила служанка, и девушка ответила, что должен, ибо нет тайны более величественной, чем тайна любви.

Но спустя всего несколько минут тишины из отцовского кабинета донеслась брань, и сквозь дверь послышались слова, в которых было много гнева:

– Как?! – кричал отец Катерины. – Ты сбил мою дочь с пути истинного, выставил ее на посмешище перед всем городом, вы с нею от людей прячетесь, а теперь, когда ты мог бы восстановить свое доброе имя, попросив ее в жены, ты просишь не ее руки, а чтобы мы отсюда уехали? Да как ты смеешь, навозный святой? За такую хулу мне бы стоило вышвырнуть из Гайстерштата тебя и всю твою родню.

Сердце Катерины застыло от этих слов, и она никак не могла понять, отчего Тауш попросил ее семью о таком. Разрыдалась она, и когда Тауш вышел, обнял ее, спросила, всхлипывая:

– Тауш, дорогой мой, любимый, почему? Зачем ты так поступил?

Но Тауш сказал лишь одно: она должна уйти, любой ценой и невзирая ни на что, уйти из Гайстерштата, потому что у него болит в животе там, откуда он выпрял для нее шнур, и он очень, очень сильно переживает за ее душу.

Вернулся он в лес, удрученный, и тут оказалось, что вся Деревянная обитель знала о его печальной любви и о том, как вместо того, чтобы попросить руки девушки, он устроил скан-

дал в ее доме, пытаясь изгнать Катерину из Гайстерштата. Мошу-Таче жестоко его наказал, приговорив чужими устами: был он сослан на десять дней в закопанную бочку, где дышать следовало через соломинку, а воды ему дали всего один ковшик, и еще надо было неустанно, день за днем, ночь за ночью, просить прощения у земли за то, что он повернулся к ней спиной, и что было ему наплевать, возродится ли она. Тауш знал, что это неправда, но пришлось ему пострадать – и там, под землей, был Таушу сон, про который он мне позже рассказывал несколько раз, но все время не до конца.

Как будто бродил он по лесу, словно безумный, искал Деревянную обитель и никак не мог найти. Ходил кругами, пока не наткнулся на то место, где ткань Мира расползалась – ту самую дыру, которая, как боялись ученики, все никак не закрывалась, а вокруг лесные жучки-паучки шептали, что Мошу-Таче и ученики исчезли, вместе с обителью канули в дыру, что разверзлась перед ним. А потом, как поведал Тауш, он спустился, чтобы вытащить их оттуда, но не сумел, и о том, что там видел, рассказать нельзя.

– Много плесени, Бартоломеус, – так он сказал. – Много плесени и гнили в гигантских деревянных чанах. Тапал слишком долго шел, ставя ступню криво, и теперь на ней вздулся волдырь Мира и не'Мира.

И еще, дорогой мой паломник, чьи кости обдувает ветер, если верить словам моего друга, когда он вернулся из дыры, то был уже не он, а кто-то другой, и коли кто позвал бы его по имени (Тауш! Тауш!), святой бы не обернулся, потому что у него оказалось слишком много имен, да только ни одно ему не принадлежало.

Глава восьмая

В которой мы узнаем про странствующий карнавал вблизи от города Гайстерштата и о том, что можно найти внутри коня; ученичество Тауша завершается кровью

Когда выбрался Тауш из закопанной бочки, породнившийся со смертью и очень печаленный, узнал он от своих братьев по кодрам, что возле Гайстерштата появился странствующий карнавал – какой-то грустный, без музыки, с закрытыми воротами, потому что циркачи все еще искали по всему городу парнишку с хорошо подвешенным языком, чтобы приставить его к делу и вознаградить по заслугам. И тогда же братья сказали, что пока Тауш сидел под землей, в лесу размножились крысолюды, и, как твердили некоторые, их и в Гайстерштате видели, ночью, в переулках, краем глаза – а как иначе можно заметить крыс размером с человека, верно?

Пил и ел Тауш, и через три дня, окрепнув, отправился с другими братьями – среди них был и твой покорный слуга Бартоломеус, – поглядеть на таинственный карнавал, о котором все говорили. Мошу-Таче нам разрешил, но почему – как не знал, так и не знаю, могу лишь догадываться. А теперь слушай, что мы там увидели.

Примерно на полпути между Деревянной обителью и Гайстерштатом кто-то выстроил дощатый забор, такой высокий, что видно было только верхушки ярмарочных шатров, раскрашенных в яркие цвета, аж глазам больно, с трепещущими знаменами, маленькими и черными. Если их сосчитать, было видно, что флагов маловато, то есть и шатров тоже – бедноватый, в общем, карнавал. Еще нельзя было войти, деревянный ларек у входа оказался забит досками, старыми и пыльными, а на воротах кто-то намалевал название: «Миазматический странствующий карнавал». Ниже шли аккуратные строчки, дескать, требуется мальчик или юноша, чтобы повествовать миру о великих чудесах, видимых и невидимых, что скрываются за этим забором; вроде как проводник, решили ученики, и дружно развесили уши. Принялись парни вертеться вокруг карнавала в надежде разглядеть его получше, и заметили, что они не одни – мальчики из Гайстерштата, и даже несколько мужчин и женщин, вышли посмотреть, что за диво обособилось вблизи от их стен. И пока мы там вертелись, один из учеников сказал: взгляните, там, наверху! Мы все посмотрели, и вот что увидели:

На деревянной платформе, чуть выше самого высокого флага, стоял мужчина в черной одежде и высокой шляпе, с длинными патлами и бородой – все было таким черным, что он казался дырой в небе, за которой простиралась пустота. Он вперил в нас взгляд и не шевелился, и мы так же пристально глядели на него. Он так стоял некоторое время, и мы тоже стояли, пока он не пошевелился и не спустился с платформы, но куда – никто не видел.

Ученики вернулись в Деревянную обитель и рассказали об увиденном Деду, который стоял, слепой и немой, и слушал. Мальчики ожидали слова от ученика, который служил старику устами, и которому тот уже положил руку на голову, но ученик не издал ни звука. Мошу-Таче повернулся и исчез в недрах своей хижины. Весь день, посреди работы и беготни, ученики думали и говорили только о Миазматическом карнавале, а когда собрались вечером, чтобы слушать и записывать историю, Мошу-Таче продиктовал им чужим голосом самый печальный рассказ, какой они когда-либо слышали. Один не смог сдержать слез, и все устыдились, заметив, как он плачет.

Рискну предположить, дорогой мой паломник, что ты уже знаешь: любопытство – сестра мудрости, но еще и брат смерти, а в тот день самым любопытным существом во всей Ступне Тапала был Данко Ферус, который, вместо того чтобы отправиться на заре спать, вытер слезы и пошел седлать коня. Он поехал верхом, и двигала им, возможно, мысль о том, что он чудесный рассказчик, пусть об этом никто и не знает, – или, быть может, им двигал смрадный ветер смерти. Кто знает? Ясно одно: в то же самое время сон учеников потревожил слух, который шепотом передавался от одной подушки к другой, из чьих-то уст в чьи-то уши, дескать, вот так же, ночью, из города исчезли три девушки. Как прослышал об этом Тауш, сон его покинул, и он тайком выбрался из постели. Отправился в конюшню и увидел, что одного из двух коней нет; оседлал другого, и успел заметить, что сено, где обычно спал Данко, лежит непрямое.

Тауш остановился перед домом Катерины, с которой ему ни разу не удалось поговорить после того, как ее отец его выгнал. Город только начал просыпаться, и улица была пустынной. Тауш оставил коня и, перепрыгнув через забор, проник во двор. Подкрался к дереву, что росло перед окном Катерины, влез на него и, оказавшись достаточно высоко, увидел девушку: она мирно спала среди подушек и одеял, в кровати под балдахином. Он улыбнулся и вздохнул с облегчением, потому что, хоть ему и надо было перестать ее любить, оттолкнуть своей холодностью, жестокостью благодетеля, она оставалась для него самым ценным существом в мире, после матушки. Он ненадолго задержался, издали наслаждаясь свежестью ее кожи, и в конце концов решил, что пора возвращаться в Деревянную обитель – как вдруг за окном появилась крыса размером с человека, одетая в людской наряд, и задернула шторы. Тауш от страха чуть не упал с верхушки дерева. Он спрыгнул и ринулся к дверям дома, стал колотить по ним руками и ногами, звать на помощь любого, кто слышит и сжалится над ним. Вышли слуги и, увидев Тауша, узнали его, да позвали хозяина. Тот, едва оказавшись во дворе, узрел святого, которого крепко держали слуги, и начал осыпать его градом ударов кулаками, ногами, по голове и животу, оскорблять и плевать. Тауш кричал не от боли, но умоляя, чтобы кто-то сейчас же побежал к девушке, прогнал крысу, помог ей, быстрее, ну быстрее же! От удара кулаком по голове он потерял сознание, и, смыкая окровавленные веки, успел увидеть этажом выше крысу: та смотрела в окно, словно бросая ему вызов. Потом тварь опять задернула шторы, и забвение обморока поглотило Тауша.

Очнувшись, он понял, что лежит в сточной канаве неподалеку от дома Катерины. Вокруг него собрались соседи, которые узнали Тауша и начали болтать, дескать, ну вот, сбрендил молодой святой. Пошлите за его матерью! Но Тауш не стал ждать, пока придет мама: отвязал коня и отправился в лес, даже не обернувшись – боялся увидеть в окне крысу, которая будет смеяться и издеваться над ним. Приехав к Мошу-Таче, он увидел, что все ученики собрались вокруг старика кольцом и в волнении мнут лица напряженными пальцами, хватаются за бритые головы – все, от новичков, маленьких и зеленых, до таких, как он и я, зрелых и готовых

к долгому пути. И увидел Тауш, что слушали они не старца, а брата Данко Феруса – тот, раскрасневшийся и весь мокрый, только что спешил, прибыв с недобрыми вестями. Хочешь узнать, одноглазый путник, что рассказал Данко Ферус в тот день, один из последних дней братства? А вот что:

Тихонько выбравшись из Деревянной обители верхом на коне, Данко быстрее ветра помчался к странствующему карнавалу. От любопытства у него внутри все так и зудело: он хотел узнать, кто же способен словом завлекать посетителей в объятия странствующего карнавала. Добравшись до деревянных ворот, юноша увидел, что они открыты, и внутри кипит работа. Вдалеке слышалась игра на дудке и цитре, но никто не пел, и под эту музыку ватага карликов с громкими возгласами подымала шатры, тягая полотнища за толстые веревки. Кто-то где-то вбивал колья в землю, и из какой-то палатки доносились тяжкие вздохи большого зверя. Данко сделал несколько шагов внутрь, и тотчас же столкнулся с карликом без рук и ног – тот сидел в тележке, запряженной обезьяной.

– Наниматься пришел? – спросил карлик. – Тебя ждут.

Данко пытался сказать карлику, что нет, он не пришел наниматься циркачом, нет-нет, он ученик Мошу-Таче, древнего рассказчика из Деревянной обители, что в лесу, он просто...

– Чего «просто»? – спросили и другие ученики, прерывая его историю. – Зачем ты туда пошел, брат Данко? – спросили они, и Данко не знал, как ответить, так что пришлось ему рассказывать дальше.

Карлик тотчас же исчез в одном из шатров, куда его затащила обезьяна. Данко не двинулся с места, пока зверюшка не вышла и, подскочив к нему, не взяла за руку и увлекла следом.

Внутри обнаружился только пыльный и немного шаткий стул. Карлик велел Данко садиться – дескать, маэстро скоро придет. И исчез. Данко оказался в шатре один, и собрался было уйти, как вдруг из-за занавеса в дальнем углу появился мужчина, которого накануне видели ученики, и приподнял островерхую шляпу в знак приветствия. До того как занавес упал на место, Данко успел заметить темный коридор – мрак, где изредка мелькали огоньки тонких сальных свечей и откуда повеяло смрадным ветром, какой-то жуткой гнилостной вонью.

– Добро пожаловать, юноша, – сказал незнакомец и поклонился.

Данко кивнул в ответ.

– Откуда ты и как тебя звать?

– Я Данко Ферус, родом из Гайстерштата, города по соседству, и я ученик Мошу-Таче из Деревянной обители.

– И почему ты думаешь, что ты такой умелый рассказчик, что можешь с нами отправиться в путь по Ступне Тапала?

– Да я не... – Данко начал заикаться. – Я просто...

– Или ты пришел сюда как лазутчик, чтобы донести на нас чужакам, которые на нас не похожи? Если так, знай: пусть мои карлики и малы ростом, дерутся они хорошо, и зубами рвут плоть, ломают кости.

– Я просто пришел поглядеть на карнавал, – наконец набрался смелости Данко.

– Тогда этот стул не для тебя. Он для того, кто наделен безупречным даром повествователя, а ты, как я погляжу, немой и трусоватый, так что для меня гроша ломаного не стоишь. Ты нам не нужен.

И маэстро собрался было уйти туда, откуда пришел, но Данко возьми да и скажи, дескать, все ученики Мошу-Таче – толковые рассказчики, и коли у циркачей благая цель, они и им послужат, но если помыслы у них гнилые, то братья позаботятся о том, чтобы изгнать их подальше от стен Гайстерштата.

Тогда хозяин странствующего карнавала остановился, повернулся и бросил на Данко Феруса такой долгий взгляд, что юноша потупился и устался в землю.

– У нас свой Мир, – сказал маэстро, обнаружив на своем черном жителе червячка. – А у вас – свой.

И Данко успел, бросив беглый взгляд, заметить, как мужчина поднес червячка ко рту и с аппетитом проглотил. Это так сильно испугало ученика Мошу-Таче, что он сразу же прыгнул со стула, вырвался из шатра и бросился бежать к воротам. Отвязал коня, хлестнул по крупу – пошел, красавчик! – и погнал в лес. Но не уехал, а спрятался в зарослях камышей, где просидел где-то час, хотел убедиться, что никто за ним не следит – понимаешь, путник? Все это рассказывал Данко, стоя посреди братьев, и все они слушали, только Мошу-Таче, казалось, ушел куда-то далеко, хотя телом был среди них, но в душе сражался неведомо с кем, и никто в тот момент не мог знать, выходит ли старик победителем или падает в бездну побежденным.

– А потом? – спросили ученики.

– Потом я вышел из укрытия и вернулся, ибо меня мучили подозрения и страх перед злом, когда я думал о темном коридоре и нечисти, которая в нем таилась.

Обошел наш Данко шатер, и оказалось, что коридор на самом деле тянулся далеко от его задней части, и дышать вокруг шатра было невыносимо. Юноша отыскал местечко, где ткань шатра не крепилась к земле, отодвинул ее чуток – и от того, что увидел и почуял, желудок вывернулся у него наизнанку, и тотчас же, признался бедный Данко, его вырвало от страха и отвращения. В той части шатра, озаренная лишь двумя площадками с маслом, лежала на большом столе женщина, но не такая, каким положено быть женщинам человеческого рода, а длинная, большая и тяжелая, очень брюхатая – живот у нее был размером с хижину Мошу-Таче, пронизанный синими венами, наполненными кровью, которые просвечивали сквозь кожу. У женщины были длинные руки со сморщенной белой кожей, похожие на ветки березы, и тонкие, хрупкие ноги; она дрыгала конечностями, скулила и стенала, будто испытывая родовые муки, и обликом своим походила на огромного перевернутого таракана. При этом лицо женщины выглядело еще более чуждым, однако Данко даже не сумел его как следует описать: дескать, нет в известном ему языке достаточно хороших – или достаточно плохих – слов, а может быть, и в других языках тоже нет, чтобы обрисовать в деталях, как именно выглядело это лицо. Он говорил, что если бы кто-то смог собрать в какой-нибудь гнилой утробе корову, вонючую брынзу и мертвое озеро, сплошь затянутое бурой тиной, у него могло бы получиться лицо почти как у женщины, распростертой на столе, и все-таки оно было бы не таким. Потому что кое-чего не хватало, и это «кое-что» Данко никогда раньше не видел, а потому не мог облечь в слова, да и не мог себя заставить – а он старался изо всех сил, путник.

Мошу-Таче, похоже, услышал достаточно и, отвернувшись от учеников, исчез в своей хижине, откуда уже не вышел. Головой качаешь, пилигрим? Не верится? Тебе, похоже, не случалось на своем пути встречаться с ужасами этого Мира, не говоря уже про те, что происходят из не'Мира, не так ли? Понимаешь, дорогой путник, зло всегда ближе к человеку, чем тот думает, ибо зло – оно между челом и веком, там окопалось на веки вечные и пестует детенышей, кормит их всяким дерьмом, мыслями зловонными, как кишечные газы, болью в груди и мудрыми изречениями вроде тех, коими я сыплю прямо сейчас. Но вижу, хочешь слушать дальше; до чего же ты ненасытный, верно? Ну тогда слушай, одноглазый пилигрим.

Тауш решил никому не рассказывать о том, что увидел в доме Катерины. Он в тот момент понял, что лес, город и все, что в них и между ними – всего лишь фигурки на грязной игровой доске, и чьи-то омерзительные руки передвигают их по воле кого-то незримого. Он узнал, что и жители Гайстерштата отправились на ярмарку в поисках пропавших девушек, страхась худшего. Ученики решили, что и сами немедленно отправятся в Миазматический карнавал, чтобы прогнать его насовсем, защитить город и спасти дочерей Гайстерштата от зла не'Мира.

И в суете, охватившей Деревянную обитель, пока ученики готовились к бою, взволнованные и испуганные, они слышали по-над лесом жуткий раскат грома, а потом какой-то странный ветер всколыхнул кроны деревьев, встревожил листву, и небо над головами братьев потем-

нело. Что-то случилось в лесу. Вышли тогда все за ограду, вооруженные вилами и топорами, кто чем мог, и стали ждать, высматривая что-то на расстоянии, среди деревьев. И да, действительно, что-то было там, в дебрях леса – темная фигура, силуэт с болтающимися огромными руками, неуклюже переставляющий ноги, похожие на стволы самых высоких деревьев.

– Готовьтесь, братья! – крикнули друг другу ученики и встали плечом к плечу, напрягая мышцы, но со страхом в сердце.

Боялся ли я, спрашиваешь? Боялся, дорогой пилигрим, потому что тогда я еще не подружился с тьмой и не знал, до чего сладостным может быть ее прикосновение, до чего мягким – гниlostный поцелуй. Я боялся, глядя, как гигант приближается, распахивая деревья широкими плечами, ломая сухие и зеленые ветки, сотрясая землю.

И по мере того как он приближался, ученики увидели (как будто глядели всего парой глаз) и уstraшились (как будто у них была одна душа на всех): это было существо ростом в два дерева, поставленные одно на другое, с гротескным телом из сцепившихся крысолюдов, изображающих колосса со шкурой, усеянной сотнями блестящих глаз. Крысолюды держались друг за дружку, рисуя на холсте мира неведомого до той поры монстра. Но ученики не заорали в испуге, а крепче сжали вилы и топоры да сплюнули в грязь – эти дети, из которых слишком рано вылепили мужчин, поклялись разорвать на куски каждую крысу, что глядела на них сверху вниз.

Потом стало тихо. Колосс остановился. Ученики напряглись и уstraшились, заслышав негромкие и мерзкие звуки, которые издавали вцепившиеся друг в друга крысолюды, причмокивая с аппетитом, а потом внезапно увидели, как несколько тварей в межножье гиганта оторвались друг от друга и ухватились за собратьев, тем самым открыв его нутро, и через дыру выпали три окровавленных тела, словно три зародыша, изгнанных из утробы раньше срока. Рухнули они в грязь и сломанные ветки, и ученики увидели, как над свежими трупами подымается пар: совсем недавно чьи-то неведомые пальцы содрали с них кожу целиком, оставив багрово-сизую плоть на поживу голодным слепням; поняли братья, дорогой путник, что это были три потерянные девушки из Гайстерштата. Но не успели они прийти в себя, как крысолюды разжали объятья, попадали с большой высоты, колосс разрушился сам по себе, а из поднявшегося облака пыли выбежали твари ростом с человека и начали рвать учеников когтями и клыками.

Знаешь, дорогой путник, трудно мне описать тебе ту картину, что рисовала саму себя в те минуты в лесу, и вместо красок там были кровь и прочие жидкости, вместо кистей – вилы, топоры, когти и клыки, а полотном стали Мир и не'Мир. Долго сражались храбрецы Мошу-Таче в воротах Деревянной обители, оберегая свой мир и позабыв обо всем, били крыс снова и снова, словно прогоняя дурные сны, и с каждым ударом отправляли их в не'Мир, на ту сторону, бросая следом проклятия. Когда все закончилось, и крысы легли в грязь и кровь, ученики посмотрели друг на друга и увидели, что их осталось всего пятеро. И я был среди победителей, пилигрим. Тауш тоже, как сейчас его вижу, в крови от макушки до пят; и Данко Ферус, трясущийся, весь в грязи; и еще двое, из старших учеников, потому что из малышей никто не выжил.

Где-то через час ученики пришли в себя и поняли, что им холодно; поднялись они над телами павших и решили отправиться в город, чтобы встать бок о бок с жителями Гайстерштата в битве со странствующим карнавалом. Данко побежал седлать коней, но едва вошел в конюшню, как завопил и позвал выживших братьев. Ворвались они туда вихрем, утомленные битвой, и увидели, что все лошади разорваны на куски; только один конь стоял посреди конюшни, подпертый четырьмя досками и привязанный к балкам толстыми веревками, пропущенными под животом и головой – лишь благодаря им он не падал. Бедное животное парило, мертвое, над землей, и много крови вытекло из перерезанного горла. Данко подбежал, выбил подпорки, и конь упал – веревки не выдержали тяжести, – и только тогда ученики увидели,

что жеребец обезглавлен, а все его внутренности кучей лежат у ног. Конь, рухнув, остался без головы и перевернулся, и братья увидели в его вспоротом брюхе то, что было ужасней всего прочего, вместе взятого: жеребца полностью выпотрошили и засунули в него еще один труп, и когда один из учеников осмелился вытащить это мертвое тело, положив его рядом с изувеченным конем, Тауш узнал свою Катерину.

Словно в каком-то извращенном представлении, Данко и Тауш упали на колени и, снова перепачкавшись в крови, прижали к груди то, что было им дороже всего: Данко – отрезанную голову коня, Тауш – бездыханное тело любимой Катерины. Рыдали они, стискивая мертвую плоть, и проклинали тот день, когда матери произвели их на свет, обрекая на эти ужасы, на любовь и утрату. Бартоломеус – то есть я в то время, когда не звался еще Костяным Кулаком, – и два других ученика покинули конюшню и вошли в хижину Мошу-Таче, но она была пуста, старец исчез без следа. Их сердца, и без того разбитые, разлетелись на совсем уж мелкие осколки, и они бросились бегом в Гайстерштат, чувствуя в груди пустоту.

Но добравшись до странствующего карнавала, они застали жителей Гайстерштата, которые бродили меж руин рухнувших шатров и сторевшего забора, выкапывая из-под развалин карликов и зверей. Все было ложью и обманом, никакой не ярмаркой, а прибежищем не'Мира.

– Мы таким это место и нашли, опустевшим, – твердили горожане, – кто-то перебил всех этих малышей, но наших девушек тут и следа нет.

Но не успели ученики сообщить им ужасную весть, как кто-то свистнул, подзывая всех туда, где раньше стоял большой шатер, в котором Данко увидел брюхатое существо, и там из-под развалин достали труп карлика без рук и ног. Все узрели, что ему перерезали горло, голову отрубили и взамен приставили обезьянью, воткнули в горло, чтобы не отвалилась, не шевелилась, а на кривом, искалеченном теле бедняги кто-то написал три простых слова:

«Вот оно, началось».

* * *

Прошло несколько часов с того момента, как Бартоломеус заметил, что взгляд его спутника затуманился и тот время от времени гладит себя по животу, глядя то вниз, то вдаль, то на скелет, но вечно не туда, куда надо.

– Моя история, похоже, тяжеловата для человека, который не привык ко злу, – проговорил Бартоломеус и остановил кибитку посреди дороги. – Когда волдырь Мира и не'Мира лопаются, много гноя вытекает.

Бартоломеус положил фаланги правой руки на плечо бледному путнику и сказал:

– Можешь блевануть, пилигрим, потому что много яда собирается в человеке, когда он делается свидетелем нехороших историй.

И путник перегнулся через край кибитки, и его вырвало горькой жидкостью.

– Ложись там, в снегу, под деревом, и пусть воздух исцелит тебя.

Сказав это, Бартоломеус проследил за путником, который неуклюже выбрался из кибитки, пошатываясь на заемных ногах, и рухнул подле корней дерева. Лишенные плоти кости его ног выглядели ветками, годными для костра. Пока мужчина еще не пришел в себя, скелет забрался в заднюю часть кибитки и некоторое время оставался там, в тишине. Потом вылез наружу, увидел, что путнику стало лучше, и сказал:

– Давай соберем дрова и разведем костер. Здесь заночуем.

Пришла ночь, и костер разгорелся будь здоров. На лицах путников – на том, что из плоти, и на том, что из костей, – плясали тени и отблески, и каждый из них о чем-то размышлял молча.

– Ну вот, пилигрим, завершили мы и эту часть истории о жизни святого Тауша, святого Мандрагоры, теперь называемой Альрауной, куда мы и направляемся. Дорога непростая, но история человека – тоже дело нелегкое, и кто хочет ее познать, должен быть готов внимать и

истории не'Человека. Мы отдохнем, а на заре соберем наш маленький лагерь и отправимся по нашим двум дорогам: той, что припорошена снегом, и той, что вымощена словами. Я поведаю тебе о том, как покинул Тауш лес возле Гайстерштата, и о том, как на пути к хижинам села Рэдэчини пережил он три скырбы. Но до тех пор ты должен отдохнуть и оплатить Бартоломеусу Костяному Кулаку вторую плату, как мы и договорились.

Мужчина кивнул и погладил свои голые кости.

– Но, – продолжил Бартоломеус, – прежде чем ты ляжешь спать на бочок и закроешь единственный глаз, я хочу еще поделиться с тобой мыслью, про которую никто не знает, кроме меня и святого. Половина человеческой жизни Тауша, как ты сам видел, закончилась, и, как еще увидишь, началась вторая половина, но между ними двумя приключилось нечто неслыханное: откуда-то, не пойми откуда, явился миг, всего-то секунда, которая проникла между двумя половинами его жизни и эту самую жизнь удлинила. Но секунда была чужая, невесть откуда взявшаяся, и вот так прожил святой Тауш целую жизнь, неся в клепсидре своего времени песчинку, которая ему не принадлежала. Всю жизнь Тауш задавался вопросом, кто и почему втиснул это мгновение между двумя половинами его жизни, и много грусти и печали испытал святой за время паломничества из Гайстерштата в Рэдэчини, ибо прожил он жизнь, которую не мог полностью назвать своей. А теперь ложись спать и дай Бартоломеусу Костяному Кулаку сделать свое дело.

И мужчина лег спать, и, видя, как он тихо дышит, скелет тотчас же принялся трудиться над его руками: от плеч до мизинцев отделил каждую мышцу, сухожилие, кожу, вены, окунул в стеклянные сосуды, куда собрал телесные соки попутчика. А потом с трудом прикрепил к собственным костям рук. Взглянул на содеянное и решил, что это хорошо.

На рассвете Бартоломеус, уже сидя на облучке кибитки с вожжами в руках, крикнул пилигриму, дескать, вставай, пора ехать. Тот вскочил на ноги и, увидев чудесные руки, которыми Бартоломеус держал вожжи, подумал лишь об одном: ну до чего же великий умелец этот Костяной Кулак, и как ему славно удастся все, за что он берется. Он собрал быстренько вещи неловкими костяными пальцами – ибо человек, с которого содрали мясо, сперва должен с таким свыкнуться – и, побросав все в кибитку, забрался на свое место рядом с возницей. Они поехали.

– Глаз свой закрой и отвори уши, пилигрим, ибо начинается история скырб Тауша, коих было три и еще одна.

И вот что поведал рассказчик:

Часть третья В которой ведается...

Глава девятая

В которой мы узнаем о том, как три брата отправляются на поиски не'Мира в Мире, чтобы отделить Людей от не'Людей; нечто следует за ними по пятам

Вернулись ученики в Деревянную обитель и нашли там обоих собратьев, Данко и Тауша: один обнимал голову коня, другой – мертвую девушку. Обняли их сами и оплакали все вместе погубленную юность и несбывшиеся мечты, поплакали и за девушек из Гайстерштата, и за старца Мошу-Таче, исчезнувшего без следа вместе с частями Мира, которые так никогда и не воплотились. Чтоб ты знал, пилигрим: люди говорят, что в тех частях Мира, где сейчас обитает зло, должны были находиться истории, рассказанные Мошу-Таче и его учениками, но все не так, как было когда-то, такие вот дела! Ладно, не будем плакать о том, что умерло и сгнило...

Посоветовались тогда братья, куда им идти, и в долгом том разговоре отделили большое от малого, правду от кривды, ибо у двоих из них все еще дрожали поджилки после бойни в лесу, и оттого решили они отправиться в Гайстерштат к родным: пусть волосы отрастут, бороды поседеют, и забудется все, что значило их ученичество. Не было у них благословенного дара основывать города, дорогой пилигрим, и в сотворении Мира они ничего не смыслили, так что невелика потеря. Ушли они и растратили себя впустую, как бывает со всяким, кто живет без цели. А трое – Тауш, Данко и Бартоломеус (то есть я, но другой я, который был до меня) – остались вместе, и так было до той поры, как ты вскоре убедишься, пока их пути не разошлись.

Данко, чтобы ты понял, больше не говорил и едва шевелился; иногда, преодолевая боль, он мог выпить плоток пива и проглотить маленький кусочек жареной печенки, но и все, а в остальном он крепко прижимал к груди голову коня, плакал и бормотал нечто, понятное ему одному, уткнувшись в короткую и жесткую шерсть животного, и в горе ему сопутствовали мухи, которые, правда, были веселы и ненасытны. Тауш сделался грустным – наверное, еще грустней, чем камень, который глубины извергли на свет, навстречу дождям и людям. Он похоронил свою зазнобу на месте ямы, в которой они часто предавались плотским утехам в то недолгое время, пока их любовь еще ступала по земле, безгрешная. Достал шнур, который заранее приготовил для нее, и поместил – не спрашивай меня, почему – не на запястье, а под язык девушки. А потом выпрямился, вытер слезы с шеи и груди, и ни с того ни с сего сказал:

– Пошли, Бартоломеус. В Гайстерштате дадут нам лошадь и повозку.

Так и вышло: скорбящий город сжалился над братьями, оставшимися без дома, и дал им все, что требовалось для путешествия. Тауш провел еще час с мамой, а потом забрался рядом с Бартоломеусом, и все трое покинули город, оставив позади и любовь, и ненависть, лишившись всего, что приобрели, но готовые наполниться вновь, шаг за шагом, тем, с чем им еще предстояло встретиться за время долгого пути. Бартоломеус и Тауш ехали на облучке, а Данко лежал позади и молча, в мыслях, плакал, прижимая к груди голову коня.

– Куда мы едем, Тауш?

– Куда глаза глядят, Бартоломеус, по следам зла.

– А мы его когда-нибудь догоним, брат?

– Я не знаю, – сказал Тауш, – потому что чем сильнее ты догоняешь зло, видишь его черный затылок и чуешь вонь подмышек, тем сильнее зло догоняет тебя, и затылок, который ты видишь, – это твой затылок, а смрад источает твое собственное тело.

И замолчали братья, и пустились в путь следом за мужчиной с патлами и бородой и брюхатой бабой, и любыми гнилыми помыслами, которые их призывали. Время от времени Тауш

оборачивался, но не для того, чтобы проверить, в порядке ли Данко, – он смотрел дальше, поверх повозки, на горизонт, от которого они отдалялись.

– Что такое, брат Тауш? – спросил Бартоломеус. – Что ты видишь?

– Там кто-то есть, брат Бартоломеус. Кто-то идет за нами?

– Кто?

– Это два брата, я их хорошо вижу.

– И кто же они, святой?

– Тауш и Бартоломеус из Деревянной обители Мошу-Таче; они едут на повозке за нами, и их конь ступает по следам нашего коня, а колеса повозки едут по колее, которую оставляют наши колеса.

Бартоломеус решил, что всему причиной неумная печаль и боль, и больше ни о чем не стал расспрашивать Тауша.

Глава десятая

В которой мы узнаем о ферме Унге Цифэра и о том, что там нашли братья; первая скырба Святого Тауша исходит от утробы

Сперва они шли, обходя города, но спустя некоторое время стали путешествовать от города к городу, задерживаясь на несколько дней, чтобы помочь тем, кто в этом нуждался, – по хозяйству, или с исцелением домашних животных, или с утешением больного или умирающего. И вот в одном из таких городов – был ли это Моос зеленый? – пока они у колодца на площади дожидались часа, когда можно будет уехать, и переговаривались напоследок с горожанами, кто-то узнал, что один из трех путников – святой Тауш, чья слава дошла и туда. К нему подошел старый хромец и спросил, найдется ли время, чтобы вылечить двух животных.

– Мой господин щедро вознаградит тебя и твоих спутников, я в этом не сомневаюсь, – заявил он, но сперва положил в ладонь Тауша толстый кошель с «клыками».

Бывшие ученики Мошу-Таче в дороге нуждались в деньгах, поэтому они направили свою повозку, в которой все еще лежал и плакал молодой Данко, туда, куда им указали; рядом с ним уселся старый хромец, бросая беспокойные взгляды на бедного измученного юношу с конской головой в руках – останками чего-то, что когда-то было живым, а теперь сделалось пищей червей и испускало вонючие соки.

Повозка выехала из города и направилась через холмы в лес. Лес этот называли Огненным супом, но он не выглядел выжженным: заросли были густые, зеленые и прохладные. Ветру там места не нашлось, и он ушел, унеся с собой все звуки. Но в тишине и спокойствии братья вскоре поняли, откуда взялось название: выехали они на прогалину, где трава не росла, а по краям стояли деревья с наполовину сгоревшими кронами. Когда-то здесь случился большой пожар, и в самом центре возникшего пустыря построили ферму. Это был большой особняк, чьи длинные крылья простирались в обе стороны, а перед ним, в некотором отдалении, стояли хлева и большие загоны, в которых кишела и шумела всевозможная живность – куры, коровы, овцы, кони, гуси, индюки. Подъехав ближе, братья увидели, кто ждет их на ступеньках особняка.

– Господин Унге Цифэр, – сказал старый хромец и опустил глаза, уставившись на жирного червячка, который копошился в шерсти конской головы в руках Данко.

– Рад гостям из Деревянной обители Мошу-Таче! – провозгласил мужчина. – Я вас ждал.

И как бы мне, дорогой путник, описать тебе этого хозяина по имени Унге Цифэр из фермы посреди Огненного супа? Представь себе человека длинного и худого, чьи тонкие руки плясали вокруг него, словно привязанные к веревкам, за которые дергает кукольник, от души налупавшийся дурману, – они, казалось, ломались во многих местах, как будто у этого мужчины было больше суставов на руках, чем у тебя или у меня, и с ногами было то же самое,

но начини ты считать суставы, узрел бы, что их положенное количество, и сильно бы удивился увиденному. Кожа у него была, пилигрим, как та дубленая и выделанная, которую натягивают на барабан, по краям вся в мелких складках. Он не моргал никогда – или, по крайней мере, пока на него кто-то смотрел, – не улыбался, и глаза его в орбитах на удлинённом, смуглом лице почти не шевелились. А голос? Его голос, путник, был самым странным звуком, какие когда-либо слышал человек: он как будто рождался не в горле, а где-то позади, за спиной этого странного типа, вне Унге Цифэра, следуя за ним, но все время не поспевая.

– Пурой, – сказал Унге Цифэр, – покажи братьям, где они будут ночевать, и приготовь все к ужину. Дорогие ученики, – продолжил он, обращаясь к Бартоломеусу и Таушу, – давайте отужинаем вместе и поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить.

Он поклонился, согнувшись всеми сочленениями, а потом ушел в свой особняк.

Ведя учеников в комнату, которую им выделили на ночь, хромец Пурой все время поворачивал голову в сторону особняка и говорил:

– Эх, господа, теперь, когда вы познакомились с мастером Унге Цифэром, не судите нашу братию. Мы такими были не всегда. Когда-то тут была другая, красивая ферма, и хозяин был другой – звали его Хогарт, он выращивал всякое и разводил славных животных. Но пришел ему конец, и ферму со всем содержимым, включая меня, купил хозяин Унге Цифэр. Я не всегда был Пуроем⁶, но это теперь мое имя, потому что все в жизни меняется и все мимолетно.

Показывая гостям кладовые и комнаты, и все, что еще нужно было показать, он сообщил, что в семь их ждет богатый ужин в саду позади особняка. Тауш и Бартоломеус подняли Данко из повозки и хотели отнести в комнату, но тут увидели, как к ним бежит Пурой и приговаривает, дескать, где была его голова? Забыл предупредить, что дохлятине не место в комнатах, да и вообще на ферме...

– Нет-нет, дохлятина пусть остается в повозке, а повозка – за пределами фермы, – сказал Пурой. – Здесь, когда кто-то или что-то умирает, мы его тотчас же выносим за ограду; и речи быть не может, чтобы притащить нечто мертвое на ферму по собственной воле!

Ничего не поделаешь: Тауш и Бартоломеус, как хорошие гости, с сожалением вынесли Данко с фермы и отвезли в повозке на край прогалины. Поцеловали в лоб. Данко был потерян, и братья это знали – он заблудился, как случается с живыми на тропах смерти, но они его любили и не хотели бросать.

До ужина оставалось еще два часа, и все это время Тауш простоял у окна своей комнаты, глядя в пустоту – на останки сожженных деревьев, на колыхание листы, – и думая о Катерине, о матери и отце, о Мошу-Таче и обо всех созданиях, что когда-то были или будут. Но в особенности он думал о тех, кому не суждено появиться на свет. Когда вошел к нему Бартоломеус и сказал, что ему холодно, и какое-то странное чувство терзает нутро, Тауш сказал, что это естественно – они отправились по следам зла, и там, где они теперь ступают, зло уже успело пройти. А зло сперва проникает в нутро, потом – в поясницу, и уж после этого добирается до черепа, вот так сказал Тауш.

И в семь часов, как и было обещано, братья вышли, чтобы поужинать в саду за особняком. Там они обнаружили огромный шатер, приготовленный к празднику, и в его тени – длинный стол, за одним концом которого восседал хозяин Унге Цифэр, а за другим стояли два пустых стула.

– Мне сообщили, что ваш брат с нами ужинать не будет, – сказал хозяин. – Я приказал, чтобы ему в повозку отнесли кое-что из яств со стола. Не робейте! – И Унге Цифэр принялся уговаривать их есть и пить. – Пурой! Музыканты!

⁶ Пурой (рум. Puroi) – гной.

И тут из-за боскета ⁷ вышли трое музыкантов с дудкой, арфой и цитрой и начали играть мелодию, легкую, как ветерок, и убаюкивающую, как волны. На столе были выставлены отборные яства, серебряные кубки наполнили дорогим вином, и все самое ценное, что нашлось в доме, принесли Таушу, чтобы почтить его. В шатре витали ароматы блюд из самых разных стран, и, если бы братья не закалили свой дух за время ученичества, они бы точно нажились на еду, позабыв обо всем на свете.

Ели они молча, и Тауш время от времени бросал взгляд на сарай, который стоял на самом краю фермерских угодий, между обгорелыми деревьями на границе прогалины.

– Что вы там держите, наисчастливейший Унге Цифэр? – спросил Тауш, указывая на эту старую хижину.

– Э-э, вон там? – переспросил хозяин, но не обернулся – он каким-то образом понял, о чем речь, как будто ждал вопроса. – Там у меня звери невиданной в этих местах породы, которых привезли издалека – ох и дорогая вышла затея. Но они спят днем, и в такой час едва ли успели продрать глаза.

– А мы не сможем поглядеть на этих прекрасных существ? – спросил Бартоломеус, и Унге Цифэр рассмеялся.

– Ох, нет! Они очень застенчивые и спят между зеркал. Если мы туда пойдем сейчас, они спрячутся, и мы не увидим ничего, кроме наших уродливых человеческих лиц – уж простите за такие слова!

И все рассмеялись, кроме Тауша.

– Зачем ты нас позвал, добрый хозяин? – спросил святой, и Унге Цифэр ответил, что их ждали.

– Ваше прибытие было предсказано некоторое время назад, еще когда вы ушли из Гайстерштата и отправились странствовать. Есть у меня два зверя: они совсем обессилели и не пьют; я бы хотел, чтобы ты их исцелил. Если получится, вознагражу сторицей. Если нет, спасибо за попытку и прими этот обильный ужин вместе с ночлегом на одну ночь как достаточную плату.

Тауш кивнул, дескать, сойдет, и вся компания вернулась к еде и питью.

– А вы откуда родом, мастер Унге Цифэр? – спросил Бартоломеус, прикончив седьмой кубок – да-да, дорогой мой путник, я в то время очень полюбил вино.

– Не думаю, братья-ученики, что вы знаете о таких местах, – ответил Унге Цифэр, – они далеко отсюда, там холодно и сухо, да и в общем-то мало кому нравится. Моих соплеменников всегда было мало, а теперь – еще меньше, и мало кто там останется. Здесь лучше – земля щедрая, воздух свежий, народ многочисленный и славный, нам такое нравится. Эти места люди творили сами, и нам это по нраву, ибо наши родные края никто не творил, они возникли случайно. Но хватит про мою родину, наш молодой святой устал и скучает, а у него трудная ночь впереди. Давайте-ка покончим с едой и выпивкой, а затем отправимся к животным. Пурой, пусть играет музыка!

Под конец пиршества они выпили вина – старого, прозрачного, с медовым вкусом. Бартоломеус сильно захмелел и, поедая сладости, принялся приплясывать возле музыкантов, веселясь. А вот Тауш вел себя тихо. Он раскурил трубку и сидел с нею в молчании, не сводя глаз с хижины у леса.

– Ну что ж, молодой святой, пришло время отправиться к больным животным, ради которых я пригласил тебя на свою ферму.

Тауш опустил глаза и кивнул – дескать, идем. Шагая рядом с Унге Цифэром, Тауш почувствовал исходящую от хозяина сильную вонь. Прислужники открыли хлев, но в нем обнаружи-

⁷ *Боскет* – деревья или кусты, высаженные и подстриженные таким образом, чтобы сформировать сплошную зеленую стену.

лись отнюдь не лошади или коровы, но две твари одной породы, а вот какая это была порода, он понятия не имел. Никогда еще таких зверей не видел. Ноги у них были длинные, раза в два длиннее лошадиных, и в два раза тоньше – можно ладонью обхватить. В конечностях было суставов больше обычного, и скелетоподобные тела держались на них весьма странным образом, болтаясь из стороны в сторону. Шкура была короткая, белая, и только вокруг головы росла густая серая грива. Тауш обошел их по кругу и посмотрел им в глаза, но увидел лишь дыры вместо глазниц, в которых ничто не шевелилось, и лишь глубоко внутри башки что-то поблескивало, как будто истинные глаза находились где-то там. У этих тварей, сказал мне позже Тауш, глаза были мертвые, а глазницы – живые. Он набрал воздуха в грудь и заметил, что животные не источали никакого запаха, хозяин вонял куда сильнее, а вот они – ничуть, так что ни один хищник их бы не учуял. Кто знает, сколько было им лет и столько еще они могли вот так прожить, умирая?

– Что с ними, хозяин Унге Цифэр? – спросил Тауш. – С первого взгляда я что-то не нахожу причин волноваться.

– О, но она есть, и она серьезная, славный Тауш! Понимаешь, они умеют хорошо и красиво разговаривать – не как другие звери, а как люди, и даже лучше, я бы сказал, потому что не встречал никогда философа, который знал бы так много, или отшельника, который был бы таким набожным. Но вот уже три дня они молчат и просто глядят в пустоту.

– Откуда они, досточтимый Унге Цифэр? – спросил Тауш. – Я таких тварей впервые вижу.

– Они из моих родных краев. Их осталось мало, и очень редко они попадают к кому-то на глаза. Исцели их, прошу! – взмолился хозяин.

– А коли не смогу?

– Коли не сможешь, не страшно, славный Тауш. Завтра ты уедешь со своими братьями, как будто ничего не случилось.

– А если мы уедем прямо этим вечером?

– Ох, как ты можешь так со мной поступать? Я оторван от своего народа, от таких, как я, но мы все – гостеприимные хозяева. Я лишь об одном тебя прошу: не отнимай у меня то, что мне принадлежит, и позволь принять вас, как положено.

– Позволю, мастер Унге Цифэр, но знай: зверей твоих я исцелить не в силах, потому что даже не знаю, больны ли они на самом деле.

– Больны, Тауш, я же тебе говорю.

– Ты можешь говорить, что хочешь, но я-то ничего не чувствую, – возразил Тауш. – Из них ничто не исходит ко мне, от меня ничто в них не проникает; как если бы я стоял подле двух валунов на ходулях. Могу пальцами двигать сколько угодно, но эти создания не исцелятся, потому не могут заболеть, а заболеть не могут, потому что смерть не познали. Смерть же они не познали, потому что не познали жизни. Нету в них жизни, Унге Цифэр. Этих тварей, Унге Цифэр, не существует, и ты об этом прекрасно знаешь.

И, сказав это, Тауш вышел из загона и отправился к Бартоломеусу, который, хорошенько напившись, все еще был в саду за особняком – пожирал плацинды с тыквой. Эх, что сказать, славный мой пилигрим, очень я в те времена любил тыкву...

– Уже ночь, брат, – сказал Тауш. – Ложись спать, а то ведь мы на рассвете отправимся в путь.

Он сказал это громким голосом, чтобы все услышали. Взял Бартоломеуса и повел в их комнаты, а там отвесил брату две пощечины и вылил на голову кувшин воды.

– Очнись, Бартоломеус, – сказал святой. – Мы не будем тут ночевать.

И тогда он поведал брату все, о чем говорил с Унге Цифэром, и как тот смердел, и про хижину возле леса, и про зверей из хлева, одновременно мертвых и живых. И еще кое-что он сказал:

– Бартоломеус, когда я собрался выйти из хлева, этот негодяй Унге Цифэр на миг повернулся ко мне спиной, и у него на затылке я заметил складки кожи, а в них – глаз, который смотрел наружу. Как у владык добра есть свои разведчики, Бартоломеус, так и у владык зла. Нас ждали, нас заманили; они знали, что мы идем по следу Миазматического карнавала, и то, что окопалось на этой ферме, просто хочет нас остановить.

Бартоломеус, вспомнив про бойню в лесу, тотчас же протрезвел, как будто кто-то незримый очистил его кровь от алкоголя, и вместе с Таушем разложили они на кроватях подушки и всякое тряпье, да прикрыли одеялами, как будто легли спать, а сами тайком выбрались из комнаты. Была уже глубокая ночь, и даже луна над фермой светила неохотно, будто милостыню подавала. Они спрятались за густым боскетом в саду и в фальшивом лунном свете стали наблюдать за особняком и окрестностями. Не прошло много времени, и вот что случилось: открылась дверь, и через нее просочились три силуэта; потом из особняка вышел четвертый, пересек сад и направился в лес – туда, где стояла повозка Тауша и Бартоломеуса, в которой лежал безучастный Данко. А трое – судя по походке, одним из них был слуга Пурой, гнусный червяк – тихонько вошли в комнату братьев. Время шло, тишину не нарушал ни один звук, злодеи подкрадывались тихо, как смерть во сне. Со стороны леса приблизился Унге Цифэр, которого теперь лживая луна озаряла целиком – его туго натянутая кожа блестела от пота, и сам он выглядел ожившим пугалом, но при этом нес Данко в руках, а бедный Данко сжимал голову коня, и казалось, что безучастный человек, которого несет Унге Цифэр, весит не больше перышка, а конская голова, которую он прижимает к груди – не больше песчинки. Они вошли в хижину на краю леса, а по другую сторону сада трое слуг во главе с паршивым хромцом Пуроем уже узнала про уловку братьев и принялась разыскивать в особняке хозяина – видимо, чтобы сообщить ему о своей неудаче.

Тауш и Бартоломеус выбрались из укрытия и побежали к хижине. Оказавшись рядом, распахнули дверь – и на них излилась жуткая вонь, а Унге Цифэр оказался прямо на пороге, но один; Данко исчез вместе с гнилой головой коня. Не успел Унге Цифэр ничего сказать, как братья накинулись на него с кулаками и пинками, оттащили за хижину, чтобы никто не увидел. Заткнули рот и принялись колотить, но их кулаки с каждым ударом погружались в плоть, как во что-то мягкое.

– Ты с ними в сговоре, – кричал Тауш, – у вас с той брюхатой и ее дружком один гнилой замысел на всех!

И бил его Тауш, и Бартоломеус следовал примеру брата. Унге Цифэр уже не пытался издать ни звука, как будто то, что сидело в нем, распрощалось с жизнью, но он еще не умер. Тауш это почуял, поэтому перевернул его спиной вверх и раздвинул кудрявые локоны на затылке. Отыскал дыру между складками кожи (изнутри слабо повеяло теплом), сунул в нее пальцы и раздвинул. Оболочка треснула, и Тауш увидел под нею скелет, как будто сделанный из смолы и нутряного жира, горячий и сальный кокон, и, потрогав пальцем зеленовато-желтую кожицу, узрел сотни глаз размером с детский кулачок, которые шевелились и трепетали. Тауш поискал в зарослях сломанную ветку. Ткнул концом в тварь, что лежала у его ног, и из лопнувшего кокона пахнуло блевотиной и дерьмом.

– Быстро вытащи оттуда Данко! – велел Тауш, ковыряя веткой оболочку, и Бартоломеус так и сделал – побежал, выбил дверь, но не нашел Данко в хижине, там была лишь вонь, и в углу – открытый колодец, ведущий в недра земли. Бартоломеус даже заглянуть в него не посмел, но вышел наружу и, обойдя хижину, вернулся к Таушу, который стоял, онемев и не шевелясь, над растерзанным телом Унге Цифэра. Посреди кокона, в самой сердцевине их «хозяина», обнаружился человек – какой-то незнакомый мужчина, весь обожженный неведомыми жидкостями и оплавленный, как свечка, то бишь мертвый. Но Тауш не был в ужасе, он просто стоял молча и неподвижно, внимательно, словно в поисках чего-то, вглядываясь в рисунки, образованные ожогами, плотью и раковинами, и лицо его исказилось от отвращения, снизошел на него ужас:

на шаг он приблизился к чуждому миру, и что-то в голове у него вспыхнуло, словно его собственная душа вдруг стала хворостом, а Унге Цифэр – ветром, раздувающим пожар. Бартоломеус встряхнул брата, умоляя прийти в себя.

– Данко пропал, его бросили в колодец. Тауш, не оставляй меня тут одного!

Потом в саду раздался шум: Пурой и его подручные с вилами и топорами отправились на охоту за святым, и Бартоломеус, схватив Тауша за руку, убежал вместе с ним вглубь леса. Оглядываясь в поисках преследователей, Бартоломеус видел, отчего бежать с Таушем так легко: святой не бежал, его ноги даже не касались земли, он летел над нею, как перышко, а брат Бартоломеус был его ветром.

И вот так началась, дорогой путник, первая скырба Тауша, святого Гайстерштата и Мандрагоры.

Глава одиннадцатая

В которой мы узнаем про первую скырбу Тауша – немного, потому что о ней мало известно; нечто догоняет братьев

Только на рассвете братья вышли из укрытия. Где-то далеко раздавалось петушиное пение, Бартоломеус вытер Тауша от росы; трухлявый пенёк послужил им надежным укрытием, и Пурой с двумя подручными не нашел братьев. Вытерев как следует святого, Бартоломеус ласково пригладил ему волосы и сказал:

– Тауш, брат мой, мы опять спаслись. Что это было за существо, мой святой друг? Ведь оно точно не из нашего мира.

Но увидев, что Тауш не говорит, не зная, слышит ли он, чувствует ли и о чем думает, Бартоломеус взял его на руки и отнес в село, где недавно пели петухи, приветствуя новый день. Он не остановился, пока не дошел до колодца, где попил воды и умылся, а потом добрался до другого конца села, где усадил Тауша под деревом на обочине. Вернулся, чтобы столковаться с кем-нибудь из жителей и заполучить лошадь и какую-нибудь повозку попроще. Сделал ученик, что сумел, и получилось – вернулся Бартоломеус верхом на старой кляче, которая тащила жалкое подобие повозки, кое-как сколоченное из кучи досок. Тауш, как оказалось, продолжал глядеть в пустоту, глаза у него вытаращились, как у повешенного, и сидел он, съезжившись, почти не дыша – словом, выглядел так же, как и когда Бартоломеус его оставил. Тот же поцеловал святого в лоб – как брата по крови, а не по вере – и уложил в повозку.

Ехали они долго, до самого вечера, из страха и по незнанию объезжая села и ярмарки, ибо Бартоломеус чувствовал себя одиноким и покинутым, и не мог никак защитить своего брата. Когда ночь обрушилась, словно серп на пшеницу, Бартоломеус остановил повозку под открытым небом, обнял Тауша и заснул. Ночь была нелегкая, путник, ибо Бартоломеус (то бишь я, да) прошел сквозь огонь и воду, и дурные сны тревожили его покой один за другим. Один я помню, а остальные забыл. Привиделось мне, что я лежу рядом с Таушем в повозке, и тут наступает заря. Я встаю и решаю, что пора ехать дальше, как вдруг вижу, что Тауш с ног до головы покрыт всевозможными букашками-таракашками; я крикнул и руками замахал, прогоняя летучих и ползучих гадов с тела моего друга, и когда я по нему ладонью хлопнул, прогоняя насекомых, она ушла глубоко – и все они внезапно взлетели или разбежались, а там, где должен был лежать Тауш, осталось пустое место. Я очень испугался и проснулся – ну, Бартоломеус проснулся, весьма испуганный, что потерял брата, ведь больше у него в жизни ничегошеньки не осталось. Но не переживай, пилигрим, Тауш лежал себе, где лежал, так что наша история тут не закончится, не сегодня. Он лежал в той же позе, в какой я его оставил, когда обуял меня сон – с вытаращенными глазами, неподвижный словно кукла, охваченный скырбой.

Так было и на следующий день, до ночи, когда они снова остановились под открытым небом, под ясной полной луной, и Бартоломеуса опять навестили ночные духи, шепча во сне о том, что он хотел и не хотел услышать. Лишь на третий день Тауш открыл рот и попросил Бартоломеуса остановиться. Тот так и сделал, и очень обрадовался, что Тауш не сошел с ума и вернулся в мир живых. Тауш спустился и отошел на обочину, где справил нужду за все три дня, что провел в неподвижности. Попросил поесть и попить, тоже за три дня. Потом сел рядом с Бартоломеусом, и братья отправились в путь. Бартоломеус, снедаемый любопытством, не сдержался и спросил, где же святой был столько времени.

– Повсюду, – ответил Тауш, не глядя на него.

– И что же ты видел?

Святой ответил, что видел все.

– А меня видел? – спросил Бартоломеус.

– Нет, – прозвучало в ответ, – тебя там не было.

И вот так, в печали, ехали они вдвоем в края неведомые, где ждали их гниль и всякие ужасы, но братья набрались мужества от пережитого, и покой дороги лишь раз был потревожен, когда Бартоломеус, видя, что Тауш все время смотрит в сторону, спросил:

– Что такое, святой мой брат? Что ты там видишь?

– Вижу двух учеников из Деревянной обители Мошу-Таче, – сказал Тауш. – Едут они, как мы, не опережают и не отстают.

– А кто они, Тауш?

– Это Бартоломеус и Тауш, последние ученики творца миров, и объяла их печаль.

– А Данко с ними, святой? Данко Ферус?

– Не знаю, – ответил Тауш. – Не видать его.

И на этом замолчал, а потом вновь наступила ночь.

Глава двенадцатая

В которой мы узнаем про трактир наслаждений и про то, как братья опять спаслись от смерти; вторая скырба начинается с чресл

В каждой деревне ученики спрашивали про Миазматический странствующий карнавал. Одни говорили, что знают про него, и показывали то туда, то сюда, на дороги через лес и окраинные тропы; другие знали, но молчали; третьи не знали и не желали знать, а тем, кто не знал, но хотел узнать, лучше было бы побережиться. Тауш и Бартоломеус останавливались у добрых людей, которые кормили их и позволяли ночевать в хлеве или на чердаке; у вероломных людей, которые попытались украсть у них последнее тряпье. Ехали они все дальше и дальше, с печалью узнавая, что на достаточно большом расстоянии от Гайстерштата все меньше людей слышали про обитель Мошу-Таче, а когда добрались до местечка, где как будто бы вообще никто не знал про их родные края – мало того, над ними насмеялись и прогнали, точно псов бешеных, – оба очень сильно расстроились. А потом повеселели: ведь это к лучшему, да, пилигрим? Пускай тайное остается тайным, а видимое спрячет его еще лучше. Чем сильнее они удалялись от дома, тем больше Мошу-Таче и его ученики превращались в миф и погружались в забвение. И вот в один из тех дней блужданий, ближе к вечеру, они подъехали к трактиру, решив в кои-то веки поесть и выпить у теплого очага, а потом – поспать в мягкой постели.

Трактир стоял на перекрестке, и я уверен, за время своих странствий ты, пилигрим, таких повидал немало: они полны блуждающих душ, от торговцев, что надолго покинули родной дом в поисках честных заработков, до ворюг бездомных, коим легкие деньги подавай, короче, у каждого свой жребий, у живого и мертвого, старого и молодого, мужчины и женщины, человека и зверя. Но было там тепло, в очаге полыхал огромный огненный муравейник, стояли длинные столы с едой и кувшинами, большими да малыми, сновали туда-сюда полураздетые девицы с

глиняными мисками, и музыканты мучили инструменты, надеясь, что кто-нибудь бросит им «клык» или «коготь» из милости. Был и второй этаж – двери гостевых комнат утопали во тьме, поскольку туда попадал лишь слабый отблеск света.

Братья остановились на пороге, и тотчас же перед ними возникла смуглянка с полуобнаженной грудью, спрашивая, как здоровье и не желают ли они за счет заведения капелюк чего-нибудь укрепляющего – просто так, в качестве приветствия; ты и сам знаешь, пилигрим, как ушлые торговцы заманивают нас в свои сети. Ученики взяли хлеба и брынзы, яблок и пива, сколько позволил кошель, в который на протяжении недель они собирали то «клыки», то «когти»: кому выстроили стену, кому вылечили скотину, не теряя бдительности и никому не доверяя, ибо под маской Человека всегда мог скрываться не'Человек. Начали они трапезничать, не поднимая глаз, думая о своем, не замечая ни музыки, что звучала вокруг, ни шума и гама, поднятого пьяными, ни молчания тех, кому было что скрывать – своих собратьев по блужданию впотьмах.

На брынзу святого села муха – сперва одна, за ней другая, третья... Тауш ни одну из них не прогнал; Бартоломеус с набитым ртом мотнул головой – дескать, глянь! Мух вокруг Тауша летало все больше. Святой кивнул: знаю, вижу, не тревожся. Одна из трактирных служанок подбежала к Таушу и, размахивая платочком, попыталась разогнать насекомых.

– Ой-ой, – говорила она, – простите великодушно! Обычно их тут нету. Мы же травки особые разбросали – гляньте, под столом. И мухи не летают.

И она продолжала махать.

– Да они прямо роятся, ой-ой!..

Но Тауш поднял правую руку и попросил ее остановиться. За другими столами люди поглядывали на него – кто прямо, кто украдкой, – и музыка стихла. Все мухи сели на Тауша и замерли, как будто уснули. Святой тоже замер, как будто прислушиваясь к чему-то, и Бартоломеус, который знал, какими дарами и благодатями наделен его друг, понял: Тауш совещается с мухами. А когда святой открыл глаза, Бартоломеус проследил за его взглядом и увидел красивую женщину, которая, опираясь на перила, следила за Таушем, как будто они уже встречались – может, в другой жизни, а то и в другом мире, почему бы и нет? Ведь даже ты знаешь, одноглазый путник, что наш Тауш был неутомимым странником между мирами, пересекающим пороги. Бартоломеус спросил его, что происходит, но, когда опять поднял взгляд, женщина исчезла.

Тауш тяжело, полной грудью вздохнул. Мухи поднялись с него и исчезли в тенях трактира, откуда и прилетели. Святой достал «коготь» и показал музыкантам, прежде чем оставить на столе, и те начали бренчать на струнах и дуть в дудки, взволнованные увиденным; их песня была то веселой, то печальной, вынуждая собравшихся взяться за кувшины поглубже и табак покрепче.

Закончив есть, святой встал и поднялся по лестнице на этаж, укрытый тенями. Бартоломеус побежал следом.

– Что случилось, брат Тауш? – спросил он, но не услышал ответа – ты уже понял, пилигрим, что Тауш не всегда бывал разговорчивым.

Он подошел к двери, которую охраняла девушка – она тотчас же вскочила, чтобы остановить чужака, но Тауш отодвинул ее в сторону и вошел. За ним и брат Бартоломеус. Сильно воняло гноем и другими жидкостями, что успели пролиться и подсохнуть, и роем летали мухи, приятельницы Тауша. На кровати в середине комнаты лежала старуха, вся сизая от побоев и завернутая в тряпки, пропитанные уксусом. Она была вся избита, изранена, и под одеялами не было видно ее ног. Святой стянул с себя рубашку и начал вытаскивать шнур из пупка. Девушки вокруг Тауша сразу зарумянились, капли пота выступили у них на висках и на груди. Тауш оторвал шнур и обвязал им правую руку старухи, которая наблюдала за ним печальными, гноющимися глазами.

– Что с тобой стряслось, матушка? – спросил Бартоломеус, но Тауш, как будто слыша то, что она могла бы произнести опухшими губами, сквозь выбитые зубы, ответил за нее:

– У нее нет языка. Ее ногами били.

– Так и было, – раздалось позади, и Тауш обернулся.

Это была та самая женщина, что смотрела на него со второго этажа долгим взглядом несколько минут назад. Она была высокая и красивая, на ее коже играли отблески от пламени очага, а волосы – черные словно уголь кудри – казались живыми.

– Грабители настигли ее на перекрестке. Она умирает, – сказала женщина.

Тауш оделся и вышел из комнаты, а Бартоломеус чуть задержался, пытаясь рассмотреть, что за листки с каракулями прячет за пазухой одна из девиц.

Вернувшись к столу, ученики закурили и стали потягивать оставшееся пиво.

– Тауш, она ее держит, чтобы бумаги подписывать. А ты как думаешь?

Но Тауш ничего не говорил, только хмурился и размышлял о случившемся, пытаясь, возможно, извлечь какой-то смысл из всего, что выглядело непонятным. Потом он сказал:

– Я уже видел эту высокую женщину с длинными волосами, блестящими, как ночь.

– Где, Тауш? И когда?

Но не успел Тауш что-нибудь сказать, как по всему залу посетители трактира, притихшие и успокоившиеся сверх меры, один за другим попадали – кто головой в тарелку, кто под стол, кто прямо на соседа. Оглядевшись, святой увидел, что мужчины и женщины повсюду валились, словно колосья под серпом. Он, ощутив тепло в животе и чреслах, и сам обмяк. Упал, ударился лбом об стол, и Бартоломеус, не успев прийти ему на помощь, тоже рухнул на пол, в пыль и грязь, откуда он – то есть я, пилигрим, я – увидел трактирных служанок, которые все собрались на втором этаже и, уж прости меня за бесстыдные речи, ласкали свои груди.

Но, путник, вот что я тебе скажу: давай оставим стыд в стороне хотя бы на некоторое время, потому что, если он будет нашим спутником, я никак не сумею дорассказать тебе историю про трактир наслаждений, а потому, если ты будешь краснеть от того, что я сейчас поведаю, я притворюсь, что не вижу, а если я покраснею, ты все равно ничего не увидишь, потому что нету у меня лица – только кости, и пока что костями они и останутся.

Когда проснулись братья, были они нагими, как в час рождения. Нагими и покрытыми тонкой пленкой пота, и каждый лежал в отдельной постели, сотрясаясь словно тесто от ритмичных движений, кои производили бедрами девицы, виденные ими ранее – все те же трактирные служанки. Они по-прежнему были в трактире, как понял Бартоломеус, который проснулся первым: он узнал стены, разрисованные сценами любви и пьянства, выкрашенные в зеленый цвет балки, узнал запах выпивки и дыма, табака и свиных окороков, увидел лица девушек с обнаженными прелестями, которые скакали, оседлав главное мужское достоинство. Но еще увидел он, что на фресках появились большие пятна плесени, с которых на пол текла вонючая вода с примесью глины; в воздухе повис такой густой гниlostный смрад, что его почти можно было разглядеть. И они с Таушем были не одни: похоже, все мужчины, молодые и старые, которые до этого ели и пили внизу, теперь лежали раздетые в кроватях, расставленных в большой длинной комнате – возможно, это был тайный чердак, хорошо подготовленный для разврата. Прыгали девки в экстазе, убаюывая им уды, едва не отбивая яйца – уж прости меня, путник, – и казалось, они вовсе хотят эти самые куски плоти оторвать, чтобы замариновать и сунуть в кладовку на зиму. Стылали и плакали женщины от наслаждения, а мужчины – нет, потому что спали они, лежали без чувств, словно в когтях колдовства; лишь изредка кто-нибудь вроде Бартоломеуса глядел сквозь тяжелые веки, сквозь туман, на манящие бедра и блестящие соски, словно звезды на небе из плоти и горьких соков.

Бартоломеус попытался вырваться из сна, собрать по крупичкам остатки мужества, пока кто-то занимался мужеской его частью, объяв ее до самого основания – и, если позволишь заметить, дорогой мой спутник, раз уж мы так далеко забрались, это было не так уж просто,

ибо Бартоломеус, когда он был из плоти и крови, а не только из кости, всего имел в достатке, то бишь и плоти, и крови, а не только костей, как сейчас. Сделал он то, чего делать нельзя ни в коем случае: вlepил девице пощечину, а она упала и... размotалась. Да-да, ты правильно понял: словно моток шпагата, она рассыпалась на витки, на ленты из плоти, которые легли ученику поперек ног. У Бартоломеуса тотчас же прошло желание, коего он и не хотел, и вско-чил юноша в испуге. Огляделся и увидел на каждой кровати одно и то же: девушки рассыпались, как карнавалыe гирлянды, и только один кусок плоти оставался на каждом раздутом члене, дергал его и толкал, что-то высасывая из бедолаг, лежащих без сознания. И когда перед глазами у Бартоломеуса прояснилось, увидел он, что в дальних кроватях, у самых стен, множество мужчин лежали иссохшие, высосанные, сморщенные и вывернутые наизнанку, а влажные клубки плоти и нервов все еще продолжали цедить остатки с самого доньшка, чтобы до последней капли выхлебать каждого человека.

Он принялся будить Тауша, на котором все еще держалось то, что было внутри «девушки», под срамными ее частями: матка с двумя рожками из плоти, и она продолжала дергаться туда-сюда и пить его. А остаток женского тела лежал поперек святого, превратившись в бахромчатые ленты.

– Тауш, дорогой брат! – вскричал Бартоломеус. – Вставай!

Увидев, что святой не двигается, Бартоломеус начал бить клубок из плоти ногами, чтобы вырвать друга из противоестественной хватки. Потом он взвалил Тауша на спину, и два голых ученика, спасая свои души, спустились с чердака. Внизу, однако, путь наружу им преградила высокая женщина с черными, живыми волосами. Бартоломеус не стал тратить время на размышления или разговоры и ринулся в кухню, где увидел еще трактирных служанок: все они, одетые по-рабочему, разделявали или варили в больших чанах куски женщин и детей, которые всего-то несколько часов назад трапезничали со своими родными в большом зале. Заметив заднюю дверь трактира, Бартоломеус схватил лампу и – как был, с Таушем на закорках – начал пробиваться сквозь служанок, обливая маслом все вокруг. Уже снаружи, когда позади огонь охватил всю кухню, он услышал, как святой бормочет себе под нос:

– Зачем ты ее остановил, негодяй? Ты даже не представляешь, какие у моей Катерины сладкие бедра...

Бартоломеус усадил его на траву и попытался объяснить:

– Это была вовсе не твоя Катерина, брат, это были не'Люди; только с ними нас и сводит судьба!..

Пламя поглотило в свою просторную утробу весь первый этаж целиком, и вскоре языки огня начали лизать второй, а потом объали, ненасытные и палящие, чердак, откуда доносились вопли людей и не'Людей. Трактир, словно факел, согревал нагих учеников, лежащих без сил в прохладной траве. Бартоломеус посмотрел на святого и увидел, что тот глядит широко открытыми глазами, но взгляд у него пустой, рот кривится в отвращении, а лицо обращено к небу, где все звезды попрятались, ибо на земле было слишком много света. И Бартоломеус все понял. Он опять взвалил его на спину и отправился отвязывать коней, уводить повозку прочь, пока все не сгорело, как вдруг услышал громкое хлопанье крыльев и увидел, как из пламени поднялась огромная черная птица и полетела к лесу. Прежде чем она исчезла среди деревьев, Бартоломеусу показалось, что птица повернула к ним голову – и было у нее лицо красивой женщины, удлиненное, с черными, живыми волосами.

Бартоломеус уложил Тауша в повозку, в точности как недавно укладывал Данко Феруса (не забывай про него, пилигрим), любителя лошадей, исчезнувшего в ночи. Кляча двинулась вперед, и братья опять погрузились в лесной мрак, голые и дрожащие от холода, ища выход к свету и лучшей участи. Бартоломеус все время поворачивался и искал взглядом лицо Тауша, которое ласкала луна сквозь ветви, и в конце концов понял: святой Тауш переживал свою вторую скырбу.

Когда настало утро, и они выехали на дорогу, пришлось им столкнуться с милостью и насмешками тех, кто выходил навстречу; одни делились сухарями, другие смеялись, а были и такие женщины, ненасытные, которые с удовольствием разглядывали нагих юношей. Уже после полудня Бартоломеус остановился у колодца, чтобы омыть свою наготу и облить Тауша разок-другой ведром воды – он мыл друга, как свинью перед разделкой, на глазах у всех, кто оказался поблизости. И Бартоломеус услышал:

– Вы из леса, где трактир? Бедная Матушка Дорис, сперва на нее грабители напали в собственном дворе, а теперь она сгорела во сне.

Весть о пожаре добралась до окрестных жителей раньше братьев, и потихоньку Бартоломеус узнавал то одно, то другое, и кое-что прояснялось.

– Эх, не повезло тем девицам, что на нее работали, – сказал кто-то.

– Да, они тоже сгорели, – сказал кто-то другой.

И все они глядели на парня, который обливал водой то ли друга, то ли брата, а потом вытирал его тряпкой, что завалилась в повозке, но никто не знал, что этот, распластавшийся и устремивший взгляд в пустоту, словно душа его оставила свою оболочку среди людей, есть не кто иной, как великий святой Тауш из Гайстерштата, которому суждено впоследствии возвести крепость Мандрагору, именуемую нынче Альрауной. Но об этом, дорогой путник, позже – может, даже завтра, потому что мне еще осталось рассказать об одном приключении.

Глава тринадцатая

В которой мы узнаем про вторую скырбу Тауша – немного, ибо мало что известно о ней; нечто идет впереди братьев

И вот так – Бартоломеус на козлах, правя клячей, а Тауш – в повозке, глядя в пустоту – двинулись они в путь, объезжая стороной деревни и города, страшась людей и устав от них самих и их никчемности. Но не удалось им совсем миновать людей, потому что человека тянет к человеку, а путника – к городу. Два месяца длилась, пилигрим, эта вторая скырба, и ученик как мог заботился о святом, поил водой, кормил пережеванной пищей, мыл и долгими страшными ночами рассказывал обо всем подряд, пусть от этих историй и не было толка. Но что увидел Тауш открытыми очами там, где блуждал его разум, никто не мог сказать. А когда встречался им по пути пеший или конный странник, Бартоломеус спрашивал, не знает ли тот про Миазматический странствующий карнавал – и вот так, дорогой мой путник, шаг за шагом приближались наши герои ко злу, которое искали.

Эти два месяца Тауш провел в размышлениях и неподвижности, а вот для Бартоломеуса они оказались щедрыми на новые ощущения и события, потому что он – то есть я, и все же не совсем я – получил шанс за оставшееся время прожить целую жизнь в селе поблизости от одного городка, где помогли ему одна девушка и ее семья, приняв в своем доме если не как князей, поскольку мало что могли предложить, то, по крайней мере, как святых, ибо всем, что имели – как бы мало это ни было – радостно делились с гостями.

Тауша уложили в отдельную постель в теплом уголке, с дровами в печи и лавандой под подушками, а Бартоломеуса приютили прямо в отдельной комнатке возле той, где жили сестры – и через узенькую дверку, что туда вела, проникала хозяйская дочь, и они с учеником любили друг друга. Отец девушки сразу обо всем догадался, но не стал мешать, ибо был он человеком веселым и познал любовь рано, не раз, не только с женщиной, которая теперь спала с ним рядом, – короче говоря, он верил в любовь и был не из тех, кто готов прогнать из дома того, кто не имеет приданого! Ученики были нищими, но богатыми духом, и старик позволил молодым любиться, а потом – будь что будет. Нынче, пилигрим, я пришел к выводу, что тот веселый и лукавый мужик был скорее мудрым, чем наивным, ибо, думается мне, он знал: нам не суждено остаться надолго в том поселке на горе, однажды мы с Таушем оба, словно в зад укушен-

ные, отправимся опять в дикие края, снова станем учениками, навсегда останемся братьями. И более того, когда я вспоминаю, как он поощрял меня пить вино из его погреба, наедаться пищей из его кладовой, предаваться любви под его крышей, словно я был его сыном, не иначе. Думается мне, что он знал, знал этот хозяин, что жизнь моя во плоти и при душе будет очень короткой. Знал ли он, путник, что жизнь моя костяная окажется богатой на события и долгой, почти бесконечной, это мне неизвестно, но неважно, ибо что было – то было, что есть – то в конце концов закончится, а что будет – поди разбери, проживем ли мы до него. Но давай-ка я поведаю тебе, что было потом. Слушай!

Бартоломеус и младшая дочь хозяина дома полюбили друг друга очень сильно, и в течение двух месяцев познали любовь и разумом, и духом, и телом. Бартоломеусу не исполнилось и двадцати лет, а он прожил целую жизнь за это время: помогал по хозяйству, заботился о Тауше и о домашней скотине, любил свою девушку и мечтал о детях. Ха! Чтоб ты знал, пилигрим, Бартоломеус в те два месяца был таким трудолюбивым, ненасытным до плотских утех и горяченького, что я не удивлюсь, узнав о том, что через некоторое время после того, как ученик превратился в остов, в том селе бегал маленький мальчик или девочка с его глазами или его улыбкой. Ха! Представь себе, пилигрим: малец-скелетик, экая сиротинушка!

Но, как я уже говорил, все должно было вскоре закончиться, и вот как-то раз забежал к ним в дом мальчишка, крича, что из соседнего села пришла весть, дошедшая из другого соседнего села, а туда пришедшая напрямиком из Лысой долины: там, в одной из низин, расположился странствующий карнавал с единственным шатром. Бартоломеус сразу вздрогнул и спросил, что он знает про людей, которые хозяйничают в этом самом карнавале, но не успел пацан ничего рассказать, как все услышали шум и увидели Тауша: исхудавший и бледный, вышел святой из комнатухи, собрав тряпье свое в котомку и повесив ее на плечо, и прошел мимо них – ни здрасте, ни до свидания – напрямиком к повозке, где сел на козлы и стал ждать Бартоломеуса. Ученик все понял и вспомнил о своем предназначении в Мире, поцеловал любимую в губы, а родителям поцеловал руки, обнял братьев и сестер и ушел, оставив жизнь позади, войдя в вечную смерть. Девушка спросила Бартоломеуса, собирается ли он войти в Лысую долину, и сказала, что лучше этого не делать, ибо мало кому удалось оттуда вернуться живым: тамошние скалы – что лабиринт, а ночи длятся без конца. Очень девушка плакала, когда узнала: ученики должны сделать то, что положено, а иначе ее дом и все вокруг канет в бездонную пропасть. Она ничего не поняла из сказанного, но, опечаленная, отпустила их. И ученики уехали.

А что случилось с мальчишкой, который принес эту весть, мне неизвестно, но могу лишь предполагать, что был он не человеком и даже не не'Человеком, а чем-то совсем уж чуждым, и оно нас заманило в эту иссушенную долину – ибо, видишь ли, пилигрим, как только мы туда вошли, сразу стало ясно, что выйти будет очень трудно.

Ехали ученики в повозке, не торопя клячу, и Бартоломеус спросил Тауша, что он видел за эти два месяца и где побывал, пока лежал неподвижно.

– Я видел все и вся, брат Бартоломеус, – сказал Тауш.

– А меня? – спросил Бартоломеус.

– Нет, брат, тебя там не было.

– А ты был?

– Нет, брат Бартоломеус, меня больше не было, – ответил Тауш.

– Какой же ты везучий, Тауш, – сказал Бартоломеус с горечью. – Ты видел все и вся, а я вот видел только то, что человек должен увидеть и вкусить в жизни, и все это я видел за два месяца в том доме, который мы только что покинули. Очень там было хорошо.

И, увидев, что Тауш все ерзает на сиденье и внимательно смотрит вперед, Бартоломеус спросил:

– Что такое, святой брат? Что ты видишь?

Тотчас же пришел ответ:

– Вижу, как впереди нас едут два ученика из Деревянной обители Мошу-Таче.

– Кто такие?

– Бартоломеус, славный ученик и дорогой брат, и Тауш, святой из Гайстерштата, блуждающий от порога до порога. Едут они впереди нас в своей повозке, а мы за ними, и наша кляча ступает по следам их клячи, а наша повозка едет по колее, которую оставили их колеса.

– А Данко там есть, брат Тауш?

– Не знаю, – ответил святой, – мне его не видно.

На этом они замолчали и снова въехали в ночь.

Глава четырнадцатая

В которой мы узнаем, что случилось в Лысой долине, где кое-кто теряет все мясо с костей; а в это самое время, далеко – в другой истории – Данко Ферус встречается Великую Лярву

Знай, пилигрим, что побрили ту долину наголо ветра, дожди и реки, в которых не осталось ни капли воды. То тут, то там видели братья руины башен, и временами ехали через покосившиеся мосты над пересохшими камнями. И ни зеленых зарослей, ни живых существ, которые бы в них прятались, там не было.

– Тауш, – сказал Бартоломеус святому, – во что мы ввязались, брат? Думаешь, нас снова заманили?

И Тауш ответил:

– Да, брат Бартоломеус, нас заманили, мне это тоже ясно, но сейчас уже нет пути назад, и то, что мы должны сделать, следует совершить без страха в сердце.

Так говорил святой и шел впереди лошади по сухим камням, не боясь ничего. Текли часы, настроение у братьев было то лучше, то хуже, и в такие моменты Бартоломеус начинал опять:

– Тауш, думаю я, нам надо возвращаться обратно. Здесь мы найдем лишь свой конец – видишь, нет даже следов карнавала.

– Если хочешь обратно, друг мой, сердиться не стану и мешать не буду – ступай; но я сам должен догнать зло и отомстить за мою Катерину и Мошу-Таче, за учеников и Данко Феруса, за всех, кого у нас отняли и не вернули.

– Ладно, святой Тауш, – ответил Бартоломеус, – останусь я с тобой до конца, каким бы он ни был.

Слушай!

Так ехали два ученика до самой темноты, когда решили остановиться возле валуна у груды таких же и поспать. Бартоломеус заснул мертвым сном, и все-таки несколько раз за ночь его будил голос Тауша, который спорил с кем-то как безумный, ругал и гнал кого-то, кого видел сам, но взгляду Бартоломеуса этот «кто-то» ни за что не желал показываться. Утром ученик обнаружил святого не спящим, с потемневшим и опечаленным лицом, и спросил, сумел ли тот вздремнуть хоть ненадолго.

– Нет, дорогой брат, даже глаз не сомкнул.

– С кем ты ругался глубокой ночью?

– Со святыми, которые умерли и вернулись, чтобы прервать мое путешествие, с гнилыми мешками блевотины и гноя, которые пришли, чтобы со мной по квитаться и посмеяться над моей миссией.

– И что они говорили?

– Хохотали над нами – дескать, обвел нас не'Мир вокруг пальца, обманули не'Люди, умрем мы здесь. Попали мы в ловушку, Бартоломеус.

– И что же мы теперь будем делать, брат? – спросил Бартоломеус.

– Теперь мы поедem обратно, – сказал Тауш, и очень возрадовался Бартоломеус, слышав эти спасительные слова.

Забрались они в повозку и поехали назад в деревню. Ехали, ехали и вдруг увидели, что дорога изменилась: где были скалы прямые, теперь стояли кривые, где в ту сторону видели мост, в эту оказалась башня, и так далее, пока братья не запутались совсем и не перестали узнавать дорогу, по которой приехали сюда. Ехали они так целый день, и когда спустилась ночь, наконец-то признались друг другу, что заблудились – или, может, Лысая долина была живая и играла с ними злую шутку; так или иначе, они не могли отыскать обратный путь.

Опять пришлось ночевать под открытым небом, ясным, как глубокое озеро, и полным звезд, и Бартоломеус опять уснул так, словно кто-то заботился о его отдыхе, но покой его потревожили пререкания Тауша с мертвыми святыми. Ученик поклялся вывезти святого из Лысой долины, пусть даже за это придется заплатить собственной жизнью, но, когда утром Бартоломеус проснулся, Тауша рядом не оказалось. Святой исчез. Бартоломеус звал его, и эхо орало в ответ; он ругался, и эхо его передразнивало; и все же, когда ученик начал плакать, до смерти испуганный тем, что потерял друга, эхо опечалилось и разрыдалось вместе с ним.

Так прошел и третий день в Лысой долине, и два ученика оказались далеко друг от друга. Даже не знаю, что тебе сказать, дорогой путник, о том, куда исчез Тауш, и не вышло ли так, что долина, живая и коварная, играла с нами в смертельную игру, отделив одного от другого, но... наберись терпения и жди... когда после третьей ночи в той пустоши Бартоломеус проснулся, он заметил с тоской, что если это битва, то долина в ней побеждает: кляча и повозка исчезли. Бартоломеус – то есть я и все же не совсем я – опять начал звать Тауша и плакать, и он даже подружился с эхом, потому что такое случается с человеком в одиночестве: он подружится и с болезнью, только чтобы не умирать в тоске и безлюдье. Так провел славный Бартоломеус день и ночь, а потом еще день и ночь, и еще, и в конце концов остался без еды и воды, и все искал своего друга, звал его и оплакивал. А вот что делал все это время Тауш, о пилигрим, никто об этом не знает. Но знаю я о том, что после долгих хождений, голода и жажды Бартоломеус оказался у моста через пересохшее русло небольшой реки, весь усталый и иссохший, с пустым желудком и саднящим горлом, и там, оторвав взгляд от дорожной пыли, он увидел Тауша, который молча смотрел на него с другого конца моста. Хотел побежать к нему, обнять, распеловать его лицо, но не смог, таким он был измученным и больным. Увидев друга и брата по другую сторону и задержавшись, чтобы поглядеть на него внимательней, Бартоломеус понял, что святой чувствует то же самое, что и он сам, он так же измучен пустыней и устал до смерти. Их лица были словно глубокие колодцы – понятное дело, что есть у них дно, только вот поди разбери, что там кроется.

– Брат Тауш... – начал Бартоломеус.

– Да, брат Тауш, – ответил святой.

Бартоломеус списал это на усталость – то ли он сам плохо слышал, то ли у святого начались видения, ибо ты же знаешь, пилигрим, что от голода, жажды, ветра и прочего человек немного сходит с ума. Но братская любовь исцеляет горести, и Бартоломеус решил, что может все исправить.

– Как же я скучал по тебе, святой! – сказал он, повысив голос.

– Ах, мерзкий ты святоша, – ответил Тауш по другую сторону моста, – моча небесная, дерьмо земное! Покажи мне шнур, Тауш, и я тебя им же задушу!

От таких слов Бартоломеусу сделалось плохо, и он перестал узнавать своего брата. Но потом бедолага подумал: может, на самом деле Тауш не отыскался, и это просто ему мерещится от недуга, или, что еще хуже, явился ему один из тех мертвых святых, которые не давали ему спокойно спать, мучили Тауша так рьяно, и теперь вот украли его облик, чтобы искушать Бартоломеуса. Но, присмотревшись как следует, понял Бартоломеус, что это не видение и не призрак, но именно Тауш, чей разум помутился, и думает он, что видит перед собой не Бартоло-

меуса, но фантом, а то и мертвого святого, который украл облик не друга или ученика, а самого святого – и теперь искушает его. Тогда Бартоломеус снял грязную рубашу и впустую поковырял пальцами в пупке, показывая Таушу, что лишен его дара, а потом сказал:

– Взгляни, брат мой, я не Тауш, не привидение и не мертвый святой. Я Бартоломеус, товарищ в дороге, собрат по ученичеству у покойного Мошу-Таче в Деревянной обители возле Гайстерштата, где мы творили Мир и преграждали путь не'Миру, где учили нас возводить города.

От этих слов Таушу как будто стало лучше, пелена тумана в его взгляде словно развеялась. Они двинулись навстречу друг другу и, достигнув середины моста, обнялись как могли ослабевшими руками. Сперва Бартоломеус почувствовал горячее дыхание брата-святого, а потом высохшие без слюны зубы. И Тауш впился Бартоломеусу в горло.

Ученик умудрился закричать, но сопротивляться не смог – укус выдрал большой кусок плоти из его шеи и вскрыл внутренний мир, пилигрим, со всеми его венами, мышцами, артериями, сухожилиями, лимфой, желтой и черной желчью и прочими жидкостями, которые текут в теле от макушки до пят и обратно. Из дыры, что открылась в горле, хлынул поток крови, чем-то похожий на тот красный шнур, который Тауш вытаскивал из собственного пупка. У Бартоломеуса подогнулись ноги, и он рухнул как подкошенный прямо там, посреди моста. Все еще с открытыми глазами, время от времени вздрагивая, он чувствовал, как истекает кровью – и она не текла понемногу, словно деревенский лекарь вскрыл ему нарыв, а хлестала, как будто из бочки. Так много ее вытекло, что весь мост ею покрылся, и можно было решить в смятении, что так и должно быть, что повсюду в Мире дорожная пыль с кровью перемешана.

Пока Бартоломеус еще не испустил дух, он увидел, как Тауш сел рядом с ним и начал поедать его мясо, отрезать ножом кусочек за кусочком. Резал и складывал рядом горками, красными и лиловыми, словно собирался готовить жаркое на славном пиршестве. А потом Бартоломеус закрыл глаза в последний раз, ибо когда по прошествии некоторого времени снова вспыхнул свет, у него уже не было глаз, чтобы их открыть – и вот закончилась короткая, лет этак в двадцать, жизнь в виде тела из плоти и крови ученика по имени Бартоломеус, на мосту в Лысой долине, рядом с дорогим братом, коему он служил, святым Таушем из Мандрагоры – города, который мы сейчас называем Альрауной, и куда лежит наш путь.

Глава пятнадцатая

В которой мы не узнаем о последней скырбе Тауша, потому что никто про нее ничего не знает; вот она, третья скырба, во всей своей сути

Глава шестнадцатая

В которой мы узнаем, как Тауша спасли из Лысой долины; люди задаются вопросом, настоящий ли это Святой Тауш или нет

Дорогой путник, ты глядишь на меня в изумлении – ведь я не говорил тебе об этой скырбе святого Тауша, но что я мог рассказать? Ни об увиденном не мог поведать, ведь с моих костей содрали все мясо, ни об услышанном с чужих слов, ведь не было никого там, никто не увидел, что случилось после того, как Бартоломеус, бедный Бартоломеус – против собственной воли, стоит заметить – ринулся спасти живот и сердце Тауша. Но смотри-ка, вновь наступает ночь, и нам придется вскоре подыскивать безопасное место для сна, так что я должен поторопиться, чтобы закончить с этой частью жизни Тауша, как знаю и как могу, и чтобы ты изведal, как закончился путь ученика Мошу-Таче и начался – основателя города Мандрагора. Слушай!

После того как братья покинули то село, где бедный Бартоломеус нашел любовь и потерял ее на протяжении одного и того же лета, в дни, следовавшие за их отъездом, часто происходили жесткие, напряженные споры: одни говорили, что надо пойти и найти их, потому что, дескать, сами они никак не выйдут из Лысой долины целыми и невредимыми, а другие – что никто не должен рисковать жизнью ради святого, который не очень-то доказал свою святость, ведь чем он занимался-то, пока гостил в селе? Правильно, дрыхнул как медведь зимой.

– Ну и хватит! – кричали одни.

– Ничего подобного! – отвечали другие.

И вот через пару недель возлюбленная Бартоломеуса собрала братьев и сестер, и тайком отправились они в Лысую долину, чтобы вернуть братьев в село либо живьем, либо в виде гниющих трупов – а правда, как ты уже знаешь, заключалась где-то посередине.

Они оставляли следы и знаки, делали все необходимое, чтобы отыскать обратный путь, и, поскольку цель у них была благая, ведь они отправились спасать жизни, им сопутствовал успех. Они увидели, как над неким местом кружится огромная стая ворон, и, потратив целый день на путь к этому месту, увидели мост, а на мосту – Тауша, который дрожал то ли от озноба, то ли от жара, сидя возле костра, где медленно жарились кусочки мяса. Поблизости лежала кучка костей, а рядом с нею – еще одна, из мяса и кожи. А когда парни и девушки из деревни развернули сверток из рубашки Тауша, они с ужасом и омерзением обнаружили в нем голову Бартоломеуса, его ладони и ступни, которые были, наверное, слишком человеческими, чтобы их съесть, даже вот так, с душой во власти недуга и разумом, осажденным духами забытых святых.

Возлюбленная Бартоломеуса плакала всю дорогу, но в конце концов, после двух трудных дней, следуя по знакам и следам, парни и девушки, ко всеобщему удивлению, вышли из Лысой долины. Но немногие, очень немногие знали, что они прятали в мешке, когда святого Тауша вносили в село на руках, исхудавшего и как будто меньше похожего на человека. Про Бартоломеуса никто не сказал ни слова, а девушке пришлось частенько прятаться, чтобы выплакать свою боль. За Таушем ухаживали как могли, потому что он был скуп на слова, не говорил, где у него болит, что он чувствует и о чем думает. Про Бартоломеуса он как будто уже забыл, потому что не сказал ничегошеньки про своего товарища по дальней дороге и даже не попросился присутствовать, когда однажды ночью девушка вместе с братьями и сестрами закопала кости возлюбленного за домом, в тени орехового дерева – и позже чужие руки, про которые, путник, я тебе до сих пор не рассказал и не расскажу, его выкопали и наделили жизнью-нежизнью, кою ты сейчас и видишь под этим колдовским одеянием. Но об этом – по другому поводу, в другой истории.

Тауш успешно справился и с ознобом, и с жаром, бредил и кашлял то кровью, то зеленой желчью; падал на кровать, потом вставал, снова падал и снова вставал, и так повторялось до той поры, пока однажды утром село не проснулось и не увидело, что Тауш здоров и снова полон сил. Он ходил от дома к дому, разговаривал с сельчанами, изрекал мудрые слова, пока все не убедились, что это правильный Тауш, а не какая-нибудь тварь из Лысой долины. Но возлюбленная Бартоломеуса так и не простила святого, хотя и обняла его в тот день через два с лишним месяца, когда Тауш решил уйти – обняла, но не поцеловала в щеку и не освободила от вины за то, что он съел ее дорогого, любимого жениха. Хотя она его и ненавидела, все равно плакала, когда он ушел, потому что с ним ушла последняя частичка Бартоломеуса, какой бы та ни была; в основном, были это воспоминания, застрявшие меж складок серого одеяния Тауша, и запах земли, по которой ученики ступали вдвоем. Святого ей было не суждено увидеть, а вот с Бартоломеусом предстояло встретиться еще раз, один-единственный раз, на перекрестке – но, как я уже говорил, об этом и обо всем, что приключилось с Таушем во время его второй жизни, по другому поводу, в другой истории.

Здесь заканчивается, дорогой путешественник, новый день и новая глава, и с нею мы приближаемся к прибытию Тауша в Мандрагору, но об этом завтра. А сейчас пора спать.

* * *

Кто бы ни очутился в тот поздний час в тех краях, увидел бы он странную картину: из маленькой кибитки выбрался высокий и худой скелет, одетый в серую мантию, неся в руках наполовину лишенное плоти тело спутника. Но никто не смог бы с легкостью поверить в такое, ибо тот человек дышал, дремал и явно чувствовал себя уютно, как будто костяные руки скелета были колыбелью, а голос – самой сладкой из песен, что детям поют перед сном. Скелет опустил мужчину на землю, и тот сразу же погрузился в сладкий сон – сперва вытянулся, а потом свернулся калачиком, прижав к плотскому телу руки и ноги из костей. Скелет все сделал сам: достал съестные припасы, отыскал хворост, разжег костер. Потом разбудил спутника, и случайный наблюдатель, и без того сбитый с толку увиденным, обязательно подобрался бы тайком поближе, чтобы услышать, о чем они говорили. И вот что он бы услышал:

– Проснись, пилигрим, пора рассказать мне, как тебя зовут.

Пилигрим назвал свое имя, и скелет склонил голову, как будто позволил этому имени просочиться меж своих костей и впитаться в новообретенную плоть.

– Расскажи мне что-нибудь о себе, – попросил скелет, и его желание было исполнено: путник начал рассказывать, откуда он родом – из Каркары, где огни никогда не гаснут, – и о том, что у него жена намного моложе, чем он сам, и намного красивее, чем он когда-нибудь мечтал, с волосами цвета рубинового вина и телом, которое можно ласкать целую вечность, но так и не утолить страсть, о своих четверых детях, трех девочках и мальчике, чуток глуповатом, и о том, как он отправился из Каркары в Альрауну, чтобы повстречаться с народом мэтрэгунцев.

– Как, дорогой путешественник, и это все? Ради подобного пустяка ты пустился в такую опасную дорогу, чтобы познакомиться с той горсткой людей в районе Прими, что считают себя потомками мэтрэгунцы? Что же ты хочешь у них узнать, если они сами все позабыли – да будет тебе известно, что это уже совсем не то племя, каким оно было, когда к ним прибыл Тауш. У тебя есть какая-то цель, и, судя по тому, что я вижу, славный хозяин, она связана с кошель, который так надежно привязан к твоему ремню.

И сторонний наблюдатель, тайком подкравшийся к путникам в ночи, услышав все это, явственно увидел бы, как путник хватается костяными руками за кошель и сжимает его в кулаке.

– Да не волнуйся, друг мой. Если бы я хотел украсть твои деньги или что ты там прячешь, давно бы это сделал, не ждал бы до сих пор. Мне нужно другое, и такова была наша сделка, на которую ты согласился. Мне не нужен огненный камень, который твои соплеменники извлекли из вечного пламени Каркары – мастеру Аламбику, аптекарю и алхимику из Прими, от него будет больше толку.

Путник сперва покраснел, потом побледнел, ибо скелет не просто знал, что у него в кошель, но был в курсе, с кем он надеется повстречаться в самом сердце Альрауны. Странник сказал:

– Ты, Бартоломеус Костяной Кулак, и впрямь все знаешь...

– Это верно, – согласился скелет, – потому-то меня еще зовут Бартоломеусом Всезнающим и Бартоломеусом Ворующим Плоть, а также Бартоломеусом Ходячим Злом, то есть Бартоломеусом-не-Бартоломеусом, первым в своем роду. Ты человек слова?

Путник ответил, что да.

– Тогда ложись спать и позволь взять то, что принадлежит мне.

И мужчина лег спать, и сразу заснул глубоко, а скелет принялся за работу. Как я уже говорил, если бы кто-то очутился в тех краях в тот поздний час, увидел бы он ужасное зре-

лице: скелет, взяв нож и топор, разрубил тело путника на куски и отнял его плоть, кожу и все внутренние органы, горячие и вонючие. Свидетель почувствовал бы вонь дерьма и мочи из вскрытого брюха и, если бы его не стошнило, если бы он от таких жестоких картин не потерял сознание, то узрел бы и финал мрачного спектакля: на рассвете, после долгого труда без единой передышки, скелет поместил на себя всю плоть путника, у которого осталась лишь голова, болтающаяся на теле из костей. Словно в клепсидре, где вместо песка – кровь, плоть, лимфа и сухожилия, все розовое и полное жизни перешло к одному, а все костяное и голое – к другому. Взглянул скелет на дело рук своих и решил, что это хорошо.

Он разбудил попутчика и поглядел, забавляясь, как тот изо всех сил старается держать прямо голову на костяных плечах, а потом помог ему забраться в повозку. И если бы кто-то всю ночь не спал, наблюдая за ними, он бы тайком вышел из убежища и услышал бы, как доносится, теряясь вдали, голос скелета, который начал рассказывать последнюю часть истории первого Тауша: ту, в которой повествуется о встрече с народом, считающим себя потомками мэтрэгуны, и о том, как Тауш основал святой город Мандрагору... и... изгнал... землю... собрал... затем... и...

А потом – только скрип колес и стук копыт, еще чуть позже – лишь тишина, и позади – уже забытая огромная и глубокая лужа, полная черной и густой крови.

Часть четвертая

В которой забывается...

Глава семнадцатая

В которой мы узнаем, как Тауш пришел к потомкам мэтрэгуну, и о том, что он про них услышал; святой Тауш – то святой Трудяга, то святой Соня – нарекает город Мандрагорой

Чтобы ты не ломал себе голову, пока она у тебя все еще есть, думая о том, откуда скелет Бартоломеус все это знает, если его кости остались закопанными позади дома, в деревушке вблизи от крепости, высеченной в скале, я тебе, пилигрим, все сразу разъясню: как всякий хороший рассказчик, собираю я истории, которые поведали всякие разные люди в тех местах, где я бываю со своей клячей и этой кибиткой. А там, где побывал Тауш, родились истории и легенды, и, как в Гайстерштате есть предания о святом, так и в городе, который в те времена звался Мандрагорой, а ныне – Альрауной, но обоим этим городам многому стоит поучиться у мудрого Бартоломеуса Костяного Кулака, который был с Таушем до последнего вздоха. Слушай!

Сошел Тауш с проторенной дороги, пересек поле, густо поросшее маками, – он шел долго, и вокруг него красный и зеленый смешивались, как в опиумном бреду, – и оказался среди холмов, где тут и там виднелись одинокие дома, а посередине – особняк. Чуть подальше две башенки прятались посреди камышовых зарослей, и еще было несколько строе- ний побольше, где занимались домашними делами девушки и бородатые мужчины. Это были, дорогой мой путник, потомки мэтрэгуну – народ, живущий особняком от прочего мира и уве- ровавший, что их корни, в отличие от всех людей, идут не от первого мужчины и первой жен- щины, какими бы они ни были, но от земли, от первых ростков мэтрэгуну, которые и произ- вели на свет первого человека-мэтрэгуну. Таушу они показались любопытными, в особенности потому, что вокруг, куда ни кинь взгляд, не было ни единого такого растения. Тауш пришел к ним, и так началась легенда, которую передавали из уст в уста сперва в Мандрагоре, потом – в Альрауне, от старого округа Прими до Инфими, о появлении святого в городе, который еще не был городом, среди бородатых мэтрэгунцев.

Старейшины посадили его за стол и принялись расспрашивать обо всем:

- Откуда ты?
- Кто таков будешь?
- От кого или от чего ведешь свой род?
- Что делаешь в этих краях?
- Как надолго ты тут останешься?

Но Тауш не мог до конца ответить ни на один вопрос, потому что стоило заговорить, как его тут же перебивали новым вопросом. Он ждал, пока все выскажутся, чтобы наконец-то поведать свою историю: о том, как он появился на свет среди духов Гайстерштата, в роду магов, призывателей демонов, и долг его, как всех прочих братьев и сестер, наследников этого рода, заключался в том, чтобы добром побеждать зло. И сказал Тауш, что был он святым Гайстер- штата и Мандрагоры.

- А что это за Мандрагора, святой? – спросили его тогда. – Где она находится?
- Здесь, – сказал Тауш. – Прямо здесь, где вы и где я; только ее еще нету.
- Здесь у нас село Рэдэчини⁸, пилигрим, – сказали некоторые, но Тауш ответил коротко:
- Пока что.

⁸ Рэдэчини (рум. Rădăcini) – корни.

Эй, пилигрим, будь повежливей! Если у тебя все еще есть голова, это не значит, что можно меня перебивать... Да, я тоже знаю, что у Тауша не было ни братьев, ни сестер, и не был он из рода магов, но говорю тебе то, что услышал от тех мэтрэгунцев, а они передавали легенду такой, какой хотели ее видеть; что бы ни сказал Тауш в тот день, такими его слова сохранило время.

– Ну что, святой, – сказали жители села Рэдэчины, – какие дары ты нам принес?

Тауш сказал, что еще не пришло их время, но если они примут его под своей крышей, он станет им как отец и будет их оберегать. Однако рэдэчинцы поглядели на него с подозрением, как глядят и нынче, когда от бывшего народа осталась лишь горстка в развалиюхах альраунского округа Прими, и ответили, что разрешают ему поселиться рядом с ними, но только если он сам себе построит землянку на окраине села и если будет помогать по хозяйству в том доме, где его потом накормят, – ведь так справедливо говорили они, и так поступает всякий человек.

– А если я не человек? – пошутил Тауш, и ему со смехом ответили, дескать, они тоже не люди, а мэтрэгунцы, но куда живут в людских домах, ведут себя по-людски.

Тауш согласился и отправился искать необходимое, чтобы построить себе жилище в Рэдэчины. Хочешь знать, на самом ли деле они были потомками мэтрэгунцы? Они были людьми от макушки до пят, но на то и дан человеку разум, чтобы воображать себе все, что только он пожелает, и на то дан ему рот, чтобы об этом говорить, а потому, получается, всякий из нас человек, но как будто не совсем.

Святой трудился несколько дней и ночей, чтобы соорудить себе землянку на склоне холма подальше от дороги: вырыл ее посреди корней, приладил деревянную дверь с оконцем, соорудив ее из старой бочки. Внутри он выкопал себе кровать, положил сверху доску и, закончив работу, вытянулся там и заснул. Спал он два-три дня, и из землянки поднималась такая вонь, резкая и гниlostная, что мэтрэгунцы решили: умер этот святой, которого они на тот момент еще и святым не очень-то считали, умер и гниет. Но не успели открыть дверь и вытащить его оттуда, чтобы все село не пропиталось смрадом, как Тауш вышел сам и не спеша двинулся к реке, мыться. Вернулся чистым, благоухая утренней росой, взялся за лопату и начал трудиться бок о бок с деревенскими жителями. Работал он днями и ночами без остановки, утром находили его там, где оставили вечером, – он возводил каменные заборы, осушал болота, сажал деревца или красил стены, а то и доил всех коров деревни подряд, так что вечером его не могли уговорить лечь спать. Так прошло несколько недель, и очень восхищались Таушем жители Рэдэчины: начали они шептаться по углам, что этот юноша, поселившийся среди них, точно святой. Потом, когда жизнь начала налаживаться и все увидели благие плоды трудов Тауша, тот остановился, вернулся к себе в землянку и проспал там три-четыре дня, и опять смрад окутал Рэдэчины целиком. На пятый день Тауш снова проснулся и принялся за работу: неустанно трудился он недели две-три, на глазах превращая деревню в город. Увидев, какой щедрой стала земля, и как хороши ее плоды, мэтрэгунцы окончательно приняли Тауша к себе и перестали его бояться, перестали поглядывать искоса, да и назвали святым. И поскольку у Тауша было два лица, пока он с ними жил, одни его именовали святым Трудягой, а другие – святым Соней.

После нескольких месяцев такой изнурительной работы, а также глубокого сна Тауш с радостью увидел, как разрослась деревня Рэдэчины, и когда он собрал всех жителей вокруг себя, заняли они три холма. Святой начал говорить, и его голос разносили другие голоса до задних рядов, чтобы каждая женщина, каждый мужчина и ребенок слышали, о чем вещает Тауш. А Тауш рассказывал всем про Мошу-Таче и его предназначение, и о том, как он выбрал это место, чтобы исполнить свою тайную миссию.

– Это место, – сказал Тауш, – больше не будет зваться Рэдэчины, но станет отныне известно как Мандрагора, и мы построим стены из камня, обовьем ими город, словно поясом, откроем ярмарку; возведем церкви, и Мандрагора станет известна повсюду как город, откуда

множество историй отправятся в путь и куда множество историй придут, как сцена для загадочных и великих событий, которым суждено свершиться.

И все стали радостно выкрикивать имя святого Тауша, хлопать в ладоши, бить в барабаны и играть на музыкальных инструментах. Накрыли большой стол и три дня, три ночи праздновали преобразование деревни Рэдэчини в город Мандрагору.

И вот так, дорогой пилигрим, началось святое царствование Тауша в новом городе, который он нарек Мандрагорой.

Глава восемнадцатая

В которой мы узнаем, как Тауш демонстрирует мэтрэгунцам свои новые силы и объявляет о прибытии зла; где-то далеко кто-то достает кости Бартоломеуса из могилы и вдыхает в них жизнь

Жители Мандрагоры говорили, говорили и в конце концов решили, что хотят сами поглядеть на чудеса, которыми славится Тауш.

– Разве вам не достаточно, – сказал святой, – что я построил город, трудясь неустанно, и за семь месяцев возвел столько, сколько иные не сумели бы за семьдесят лет?

Услышав это, мэтрэгунцы устыдились, но шептаться не перестали: твердили они, что с самого прибытия Тауша в их края никто ни разу не видел, чтобы он беседовал с насекомыми, исцелял зверей, не говоря уже про его знаменитый шнур из пупка, который, по словам некоторых, был просто легендой, да-да, всего лишь легендой.

Таким образом, дорогой путник, жители Мандрагоры разделились на две части: те, кто верил ему и любил, и те, кто считал, что «святого Тауша» никогда не существовало, а значит, и любить-то нечего. Такое разделение существует в Альрауне по сей день, а также на улицах округа Прими, округа Медии и даже округа Инфими. Увидев такое, Тауш решил продемонстрировать

им свои силы и, ругаясь, призвал из соседнего леса всех диких зверей. Медведя запряг он в плуг, волка приставил к садовой тачке; лиса кормила кур, набирая зерно за обе щеки, рысь отправилась на рынок за покупками, а сова зажигала огни на улице с наступлением темноты. Мэтрэгунцы от страха попрятались по домам и не выходили целую неделю, тайком подбираясь к окнам, чтобы украдкой выглянуть на улицу, где, словно во сне, дикие звери из леса делали за них всю работу. Зрелище было восхитительное, но и пугающее: а вдруг ворвутся хищники в дома и всех там погубят? Как закончилась неделя, Тауш отпустил зверей обратно в лес и призвал людей выйти.

– Теперь вам все ясно? – спросил он у мэтрэгунцев. – Или хотите еще?

Но, пилигрим, говорить с букашками, исцелять животных и прясть шнуры он больше не хотел, и никто не понимал почему, однако новоиспеченные мандрагорцы уже поняли, как обстоят дела со святым, после того, как он на целую неделю приручил лесных зверей. Примерно в то время вокруг него начали собираться ученики. Где бы ни находился Тауш, рядом появлялась стайка мальчиков в возрасте от десяти до восемнадцати лет, которые с ним вместе трудились, отдыхали, беседовали —

но о чем, то было известно наверняка лишь им одним. Большей частью ученики сооружали для себя землянки, чтобы уединяться в них и как можно лучше служить святому Таушу.

Но вот однажды люди снова заговорили о Тауше плохо, обвиняя его в колдовстве. Случилось это в тот день, когда мать одного из учеников в слезах прибежала к старейшинам Мандрагоры и сказала, что видела сына в лесу, где он разговаривал со своим дедушкой.

– Ну и что? – спросили старейшины. – Что в этом такого? И почему это значит, что наш Тауш занимается колдовством?

– Но, почтенные мужи, – ответила женщина, всхлипывая, – вы забыли, что его дед, то есть мой отец, вот уже семь лет как умер?

Старейшины решили, что она тронулась умом, и хотели то ли вышвырнуть ее, то ли поручить кому-нибудь о ней позаботиться, но тут начали приходить другие и говорить, что тоже видели, как ученики разговаривают с дедушками и бабушками, дядями, отцами – с мертвецами! Только вот они раньше боялись о таком рассказывать, потому что – ведь так, пилигрим? – разве можно вести подобные речи и не услышать в ответ обвинения в том, что у тебя не все дома? Собрание почтенных мужей, узнав о происходящем вокруг Тауша, решило узнать побольше от учеников, и потому им велели предстать перед старейшинами.

Мальчики оказались не очень-то разговорчивы: они уже начали перенимать у Тауша привычку много молчать и говорить только тогда, когда это действительно необходимо. Из учеников не удалось извлечь ничего особенного, так что их оставили в покое. Старейшины Мандрагоры решили сами обратиться к святому и отправились искать его по окрестностям. Нашли в лесу, где он мыл лицо и голову в ручье. Подождали, пока закончит, и сказали:

– Святой, давай присядем вон на тот пенек и поговорим.

Так и сделали. Говорили они долго, и старейшины никому не рассказали, о чем беседовали со святым Таушем в тот день в лесу, но в Мандрагору они вернулись всего с двумя новостями: известием и приказом. Хочешь знать, какими именно? Слушай.

Известие оказалось недобрым, ибо святой поведал старейшинам, что скоро в городе поселится зло, и потому Тауш с учениками собираются обосноваться в лесу. Не будем бояться, решили старейшины, мы не одиноки. А приказ? Почтенные мужи велели всем собраться и общими усилиями возвести в сердце Мандрагоры зал для собраний и судов.

– Когда придет время, мы будем вершить суд, – сказали старейшины и принялись за дело.

В те дни никто больше не говорил о живых мертвецах. Все трудились, строя Зал собраний, и каждый для себя решил, что раз уж старейшины во всем разобрались, то простым мэтрэгунцам остается с этим смириться. Между тем, путник, зло двинулось в путь и направилось к ним, и Мандрагора готовилась к битве, но никто

не знал, с кем и когда она случится. Не прошло много времени, как зло и впрямь явилось – а Тауш с учениками в это время ушли в лесную чащу, чтобы соорудить там для себя новые землянки.

Зло, путник, пришло под видом одного ученого мужа и его дочери.

Глава девятнадцатая

В которой мы узнаем про ученого Хасчека и его дочь Анелиду; в Лысой долине Искатели Ключа шьют для знакомого святого чужое тело

Узнай же, путник, что в то самое время, пока Тауш и его ученики трудились в лесу поблизости, возводя на вершине холма Деревянную обитель вроде той, в которой когда-то жил Мошу-Таче со своими мальчиками, в Мандрагору приехал в кибитке некий ученый муж и попросил разрешения пожить там какое-то время. Мандрагорцы вызнали про него все: был он учителем в другом городе, где все дома – включая школу – уничтожил страшный пожар, не оставив от них ни следа. Учение было последней вещью, которая интересовала выживших бедолаг, и учителю – звали его Хасчек – пришлось покинуть те края и отправиться на поиски другого города, где бы его хорошо приняли и где бы он смог продолжить свое ремесло, пустив в ход разум и голос, ибо происходил этот учитель Хасчек из древнего рода мудрецов и не мог жить спокойно, никого не обучая.

– Понятно, понятно, – говорили бородачи-мэтрэгунцы, – а что в той повозке, которую ты так ревностно оберегаешь?

– Я везу с собой то, что смог спасти из огня, люди добрые: всякое тряпье и книги; но самое ценное в повозке – это дочь моя, Анелида, душа ее и тело. Очень она испугалась пожара, и оттого теперь всего боится, робеет. Обещаю, когда ее страх пройдет, и моя дорогая малышка Анелида выздоровеет, она выйдет с вами познакомиться – и, познакомившись с нею, вы полюбите ее так, что сильнее и не придумаешь.

А теперь узнай, одноглазый пилигрим, что мэтрэгунцы не были такими уж доверчивыми и глядели на учителя с подозрением, как долгое время глядели и на Тауша, пока святому не удалось завоевать их сердца. Но к этому мужчине недоверие было еще сильнее, тем более что он был лысым и без бороды, а мэтрэгунцы как были, так и остались очень подозрительны по отношению к мужчинам, у которых не растут волосы на голове и на лице. Потому что, говорят они, что это за мужчина такой, если лицо у него голое, как попка младенца? Вот так-то, пилигрим. Я бы и сам хотел отпустить густую бороду, прежде чем заявиться в Альрауну, но не растут волосы на костях, хоть ты тресни. Но вернемся к мэтрэгунцам, которые из-за лысого Тауша и учеников его, таких же лысых, вроде как начали привыкать, что бывают люди, которые выглядят по-другому, и что по-другому – это хорошо. Слушай!

И пока они продолжали ломать голову над тем, можно ли позволить учителю поселиться в городе, тот втерся в доверие к мандрагорскому святому отцу – ибо священник, который в новом городе занимался обучением малышей, весьма хотел от этого бремени избавиться и потому убедил всех, что не помешало бы Мандрагоре обзавестись собственным учителем, а он сам станет уделять больше времени проблемам духовным, поскольку в них сплошные неясности; поди разбери, тверда ли вера в жителях Ступни Тапала. Увидев, что святой отец так решительно настроен, горожане позволили учителю заехать на своей повозке прямо во двор церкви, где как раз закончили строить деревянное здание. Его прям на месте и постановили сделать школой. Учитель возрадовался и начал, как мог, приводить ее в порядок. Вечером он объявил, что через три дня будет готов принять для обучения мальчиков и девочек со всей Мандрагоры, любых возрастов.

Три дня его никто не видел, лишь время от времени плясала его тень за окном, где всю ночь напролет горела толстая восковая свеча, и мэтрэгунцев сильно впечатлило то, насколько самозабвенно и добросовестно готовится учитель Хасчек к прибытию городских детей. Поглядев на это, они снова занялись своими делами, думая, что город растет, и это хорошо.

На третий день ученик Тауша пришел в город за провизией, узнал про учителя Хасчека с его дочерью Анелидой и попросил разрешения на них взглянуть, поскольку у святого Тауша было право знать, что происходит в городе в его отсутствие. От старейшин ученик узнал, что ученый муж еще никому не показался, но буквально завтра собирается принять детей в школе. Мальчишка кивнул и отправился по своим делам: наполнил повозку всем, что ему требовалось, гвоздями там, маслом и всякой едой, холстами и мастикой, и отправился назад к братьям, в лес.

Там, на холме, ученики уже построили землянки, которые опоясывали большую хижину Тауша, совсем как было, по рассказам святого, у Мошу-Таче, чьи подопечные сражались с не'Миром, который стремился вырасти на груди Мира, словно опухоль. Топоры и рубанки днем и ночью тревожили покой леса, ученики трудились в молчании и мало спали. Все это время мертвецы Тауша рыскали по лесу, выискивая места, где проявлялся не'Мир, и все ученики спали спокойно, зная, что тот еще к ним не прорвался.

Прибыл ученик из города, разгрузил повозку, разнес все по местам и отправился на поиски Тауша, чтобы по секрету рассказать ему о незнакомце, которого приняли в Мандрагоре, – но он сам его, к сожалению, не смог увидеть, хоть и попытался, так что вот такая получилась новость, куца. Но уж лучше, чем никакая.

– Хоть что-то, да, – ответил Тауш и погладил его по бритой макушке. – Ты молодец.

И удалился святой в свою землянку, откуда не выходил много часов. А когда вышел, попросил, чтобы ученики не шли за ним, чтобы остались в лесу и работали, как велено, потому

что он скоро вернется. Он им не сказал, куда отправился, но мы теперь знаем, что Тауш пошел в Мандрагору – и тайком, в поздний ночной час, подкрался к школе, пытаясь увидеть учителя Хасчека и его робкую дочь Анелиду.

Похоже, что святой и впрямь там что-то увидел, но что это было, я не могу тебе поведать. Он вернулся в Деревянную обитель на холме, и там его встретили ученики и мертвые, которые все эти часы ждали, не смыкая глаз, – это я про учеников, пилигрим, у мертвых нет ни век, ни глаз, чего им смыкать-то? Тауш им сказал, что кое-что видел, но был на слова скуп. И вот так его ученики узнали, что зло наконец-то прибыло в Мандрагору.

– Дорогие мои ученики! – провозгласил Тауш. – Слушайте меня! В городе Гайстерштат, где я родился, покой был навеки нарушен, когда туда прибыл один зловонный карнавал...

И святой поведал ученикам обо всем, что приключилось в те черные дни Гайстерштата, когда циркачи украли трех девушек ради исполнения некоего извращенного плана, но, когда ученики Мошу-Таче об этом прознали, напустили смерть на Деревянную обитель и исчезли. Тауш никого не щадил, повествуя в подробностях о произошедшем, и рассказал даже о брате Данко Ферусе и бедной Катерине, но знай, путник, что про Бартоломеуса, брата и ученика, он не сказал ни слова, не говоря уже про Бартоломеуса Костяного Кулака, о котором еще даже не знал.

– И тот человек, ученики мои, тот циркач с патлами и бородой, который повсюду за собой возил брюхатую тварь, полную яда и гноя, – ни кто иной, как учитель Хасчек. Завтра, дорогие мои, вместе с теми, кто умер в Рэдэчини и воскрес в Мандрагоре, мы изгоним зло из города и уничтожим его раз и навсегда!

Глава двадцатая

В которой мы узнаем о том, как живое и мертвое воинства Тауша одолели учителя Хасчека; Тауш – толпа, Тауш – легион

Как и обещал святой, воинство Тауша вступило в Мандрагору с приходом вечера. Во главе шел сам Тауш, ступая медленно и спокойно, и его лысая голова поблескивала в свете факелов, которые несли его солдаты. Среди факелов виднелись веревки и топоры, а кое-кто даже успел в спешке перековать в лесу какие-то железяки, придав им форму сабель. Мэтрэ-гунцы спешили в страхе убраться с дороги, придя в ужас при виде преобразившихся парней, а также отцов и дедов, которые умерли в Рэдэчини, но были воскрешены святым Таушем в Мандрагоре. Весь город пал на колени в поисках бога, которому можно было бы поклониться, – и, быть может, им бы подошел тот самый бог, который заботился о Тауше, одновременно добрый и злой, хранитель, предводитель несметных воинств, мститель. Тот, кто оживляет мертвых.

Тауш не смотрел ни налево, ни направо, не обращал внимания на толпу, а неспешно вел свою свиту из парней с железяками к школе. Перед нею он остановился и велел ученикам и мертвым подступить ближе. Ты можешь себе представить эту картину, одноглазый пилигрим?.. Плакали женщины рядом с детьми, которые были так похожи на своих гниющих сверстников, плакали и протягивали грудных младенцев мужчинам, которые умерли раньше, чем сумели обнять сына, дочь, внука или внучку, плакали и звали своих мальчиков, ставших солдатами в войске святого Тауша.

– Дорогие мои, собратья из Рэдэчини, гордые жители Мандрагоры, – начал святой. – Один-единственный раз спрошу я: где ученый муж со своей дочерью?

– Внутри, – ответили несколько человек.

Потом к ним присоединились другие, закричали хором:

– В школе! Они в школе!

– Слушайте меня! – попросил Тауш, и стало тихо. – В город, где родился ваш святой, в славный Гайстерштат, не так давно нагрянул жестокий карнавал гнилостных миазмов, уму

непостижимое зло, которое человечья душа принять не в силах. Это зло, сокрытое в распухшем брюхе странствующего карнавала, как-то сумело пробраться сквозь щели Мира, прежде чем добрый старик Мошу-Таче, мой вечный отец, сумел вместе со своими учениками, в числе коих был и я, эти щели закрыть. Ибо говорю я вам, что там, где в Мире появляются прорехи, надо их латать миром, иначе сквозь дыру явится не'Мир. Быть человеком – значит быть иглой, а жить в мире – значит быть нитью, которой чинят рванный занавес, окружающий нас и изодранный до локутов тут и там, теми, кто хочет, чтобы не'Мир воцарился на месте Мира. И вот через такие места, через такие дыры, смердящие не'Миром, попал к нам злобный карнавал, который истомился по чревам девушек из Гайстерштата, желая, чтобы изверглись из них отродья не'Мира. Я нашел его однажды, нашел еще раз и найду столько раз, сколько понадобится. Но знайте, любимые мои мэтрэгунцы, что зло изменило облик и нынче заявилось в Мандрагору под видом учителя Хасчека и его дочери, Анелиды.

– И чего они от нас хотят, дорогой святой? – спросил один из городских старейшин.

– Вы построили для них школу и дали им приют, но вы не виноваты – откуда вам было знать. Я вам говорю, что этот ученый муж собрался учить истинам не Мира, но не'Мира, он ищет юных рассказчиков, чтобы их натаскать, – ведь как Миру нужны ученики, чтобы творили его своими рассказами, талантливо и самозабвенно, так и не'Мир ищет приверженцев, чтобы создавали его, повествуя столь же талантливо и самозабвенно, но шиворот-навыворот, вверх тормашками, потому что в не'Мире все перепутано, и «слово» там «оволс», а «Мир» – «риМ». Вам повезло, что это зло повстречалось с другим злом, ибо ему было невдомек, что святой Тауш, коий шел по его следам так долго и якобы погиб посреди Лысой долины, попал сюда, к вам, живет среди вас, с вами, как один из вас.

Закрой свой глаз, пилигрим, представь себе толпу – послушай, как она кричит, ликуя, ощути запах горящих факелов и ярость собравшейся орды...

– Тауш, – продолжил святой, – среди вас! – (Урааа!) – Тауш с вами! – (Урааа!) – Тауш внутри вас! – (Урааа!) – Вы... это Тауш! – (Урааа!)

И толпа ответила:

– Мы Тауш! Мы Тауш!

Ты их слышишь?.. Теперь открой глаз.

И Тауш вошел в школу, ученики шли с ним рядом, ожившие мертвецы – следом, все с факелами, вилами, топорами, саблями и колунами, дубинами и плетками. Они закрыли за собой двери, и на Мандрагору пала тишина. Лишь ветер шумел где-то далеко, в горных лесах, пробираясь сквозь чащу, вздымая пыль и напоминая, что есть просторы и жизнь на тех пространствах, за пределами Мандрагоры – целый мир, ради которого их добрый святой со своими учениками и армией мертвецов сражается прямо сейчас, этим летним вечером первого года Мандрагоры, крепости потомков мэтрэгунцы. Люди прижимались друг к другу, обнимались и хватались за руки, опускали головы и ждали в тишине, пока не раздастся какой-нибудь звук.

И он раздался.

Ужасный боевой клич донесся из деревянной школы, и мэтрэгунцы поняли, что началась борьба; трещали доски, звенели битые стекла, среди стен и коридоров слышались вопли ярости и страданий. Длилось это недолго; напряглись горожане, мужчины схватили детей на руки, обняли жен, и стало опять тихо – однако теперь казалось, что не только ветер бродит по лесам вокруг города, но и дикие звери, пробужденные битвой в школе, выбирают каждый из своего логова. Не успели и они отправиться в город, чтобы послужить Таушу когтями и клыками, как битва прекратилась и солдаты вышли из школы.

Первым вышел Тауш, за ним – несколько учеников, а вслед за их поредевшей компанией живые мертвецы выволокли на площадь учителя Хасчека, избитого и крепко связанного. Последними вышли еще несколько учеников, которые несли за руки и за ноги девушку в ночной рубашке – ее они притащили к Таушу. Святой схватил ее за руку, показал толпе, а потом

сорвал с нее рубашку – и когда девица осталась голой, то все увидели, что у нее огромный, раздутый живот. Она плакала и дрожала, но не могла говорить; бледная и худая, едва держалась на ногах, в то время как толпа стала подбирать с площади камни и швырять их в брюхатую. Из всех глоток Мандрагоры рвались крики гнева и омерзения. Тауш заговорил:

– Прекратите, мэтрэгунцы! Хватит!

Толпа, послушав святого, остановилась.

– У вас есть три дня, чтобы достроить Зал собраний, а потом мы устроим суд и изгоним не'Мир из Мира навсегда!

Можешь себе вообразить, пилигрим, какой раздался торжествующий вопль? Он загрохотал, точно гром, и если всякая воля подобна маленькому землетрясению, то в тот момент они слились в одно, большое.

Глава двадцать первая

В которой мы узнаем о суде над Хасчеком и девицей Анелидой; зло бежит под землю, и поди разбери, Мир там или не'Мир (зависит от того, с какой стороны смотреть)

Три дня трудились жители новой Мандрагоры, в прошлом – Рэдэчины, возводя, как было обещано, Зал собраний. Здание вышло похожим на крепость, с длинными и высокими окнами, изнутри – высотой в три этажа, и все это пространство занимали ряды скамеек, на которых должны были поместиться все мэтрэгунцы, чтобы каждый из них смог увидеть как можно более ясно, что должно было свершиться под неустанным надзором святого Тауша, их святого. На заре третьего дня из леса пришел ученик, вошел в Зал собраний, пробыл внутри недолго и, когда вышел, велел разрушить крышу и поставить посередине столб. Затем он ушел.

Весь день и всю ночь они работали, ломая то, что построили, убирая стропила и оставляя Зал собраний без крыши. А к утру водрузили и столб, у основания которого собрали кучу сухих веток, готовых вспыхнуть от самой малой искры.

На четвертый день живая и мертвая свита Тауша вышла из леса и вошла в город со святым во главе, ведя брюхатую Анелиду в робе, заплаканную и одурелую, бормочущую в бреду какие-то слова, понятные ей одной. Они остановились у входа в Зал собраний и пропустили мертвецов, которые вошли в здание под изумленные и испуганные шепоты мэтрэгунцев, занявших свои места на скамьях. Там, посреди Зала, мертвецы возвели простую палатку из шестов и холста, возле груды хвороста, из которой торчал столб. Толкнули девушку в палатку и ушли. Все собравшиеся глядели на это молча, ожидая, пока святой Тауш войдет в палатку.

Молчали мэтрэгунцы; раздавались только приглушенные стоны девушки в палатке. Потом она внезапно перестала плакать, и прошло много времени, прежде чем изнутри донеслись новые звуки. Ученики, молчаливые и неподвижные, как будто спали с открытыми глазами; ожившие мертвецы как будто вернулись в мир ушедших, позабыв свои гниющие тела среди живых, в Зале собраний. Потом тишину рассек вопль, который точно не мог издать человек. Тауш вышел из палатки весь в крови, держа в руках бесформенный кусок плоти. Как бы мне описать тебе, пилигрим, что именно Тауш вынес оттуда? Наверное, лучше всего сказать, что святой извлек из чрева Анелиды нечто, похожее на новорожденного жеребенка, еще горячее, липкое, источающее пар, но мертвое. Он бросил это на сложенный из хвороста и дров костер вокруг столба и, пока собравшиеся, потихоньку сбрасывая оцепенение, начали орать, желая обрушить весь свой ужас перед тайным колдовством на невидимую Анелиду, вернулся в палатку. Снова вышел с трупом девушки, чье чрево было вскрыто, и бросил его к ногам мэтрэгунцев. Ученики и мертвецы тотчас же подбежали, схватили тварь и начали привязывать к

столбу. Толпа увидела, как у Тауша подкосились ноги, и он упал. К нему подскочили и отнесли к горожанам, чтобы и он смог поглядеть со скамьи в Зале собраний на костер, который как раз разводили ожившие мертвецы.

Никто и глазом моргнуть не успел, славный путник, как пламя запылало в полную силу и девушка, уже мертвая, сгорела вместе с искореженным куском мяса, который святой Мандрагоры вырвал из ее гнилого чрева. Мэтрэгунцы долго глядели на это зрелище, пока труп Анелиды не превратился в угли. Так завершился первый городской суд. Потом, когда от этой черной куклы уже не осталось ничего, что могло бы гореть, Тауш заговорил – и сказал он примерно следующее, путник:

– Эта девушка, Анелида, хоть и звалась человеком, не имела в себе ничего человеческого – она была просто выкидышем черных, извращенных сил, порождением не'Мира с лицом от Мира, но все же, если позволите, я назову ее бедной жертвой учителя Хасчека, того человека из странствующего карнавала, который проник сквозь складки Мира, чтобы превратить в не'Мир все, что нас окружает. Вы увидели сейчас, как сгорела на костре эта бедная девица, а могли бы увидеть бесчисленных полыхающих девушек прямо в стенах Мандрагоры. Ибо, не приди я из леса, чтобы положить конец этому злу, Хасчек нашел бы рассказчика, который наделил бы не'Мир голосом, и во чреве каждой девушки в Мандрагоре открылись бы врата в него.

Как толпа завопила от ликования, пилигрим! Ты бы там оглох, не иначе.

– Давайте сюда Хасчека! – кричали все. – Сожжем его! Выжжем зло до конца!

Тауш их остановил и сказал:

– Хасчеку мы подарим еще несколько часов, потому что я хочу вырвать из него ценные сведения, прежде чем отправить на костер. Я встану, как уже не раз делал, пред лицом зла, и брошу ему вызов; а потом в огне и дыме он покинет этот мир.

И опять они ликовали, пилигрим, и кто-то кричал от радости, кто-то – от ярости. Мертвые начали ломать обгорелый столб с почерневшей Анелидой, у чьих ног лежало существо, зачатое, но не родившееся, скрючившееся от жара, когда в Зал собраний вбежал один из тех учеников, что оставались в Деревянной обители, и закричал:

– Святой! Святой! Хасчек... учитель Хасчек сбежал!

Заслышав эти необдуманные слова, толпа начала роптать, потому что страх снова охватил мэтрэгунцев, и все они повернулись к Таушу.

– Откуда ты знаешь, мальчик?

– Я вошел в хижину, – был ответ.

– В мою хижину?

Ученик отвел взгляд.

– Я тебе велел дверь сторожить, а не входить.

Ученик не смел посмотреть святому в глаза. Тауш собрал свою живую и мертвую свиту и отправился в Деревянную обитель в лесу. Мэтрэгунцы потянулись следом за святым, так что от толпы стало тесно на улицах и в узких переулках, но от страха они все больше медлили и в конце концов замерли в испуге у крепостных стен. Там они простояли несколько часов, пока один из учеников не вернулся с новостями. И вот что он рассказал...

Когда святой прибыл в Деревянную обитель, вошел он в хижину один, но не пробыл там долго, а вышел очень подавленный и сел на бревно, что лежало посреди двора. Ученик, который принес весть об исчезновении учителя Хасчека, потом рассказал со стыдом, что, снедаемый любопытством, он заглянул в хижину святого Тауша, но она оказалась пуста – там не было никаких следов негодяя. Ученик оттуда вышел и увидел в долине дым, который поднимался из Зала собраний – густое облако, воняющее паленой плотью, – и бросился со всех ног к Мандрагоре, чтобы сообщить недобрую весть. Тауш не рассердился на парнишку и не стал его наказывать – главное, сказал он, что ученик быстро во всем признался, и так у них будет возможность побыстрее поймать Хасчека.

Дружина Тауша бросилась в погоню и как следует прочесала лес, но им не пришлось идти слишком далеко – вблизи от обители обнаружили ученики дыру, похожую на рану, сквозь которую просачивался не'Мир: смердело оттуда дерьмом, путник, и таков был путь, которым

учитель Хасчек вернулся в свой мир. Собрались они все вместе с Таушем, окружили эту черную пасть, что разверзлась в земле, поглотив зеленые заросли и несколько деревьев наполовину. Изнутри дул ветер, теплый и смрадный; перед ними простиралась пустота, заполненная затхлым воздухом не'Мира. Они не сходили с места три дня и три ночи, трудились, повествуя, пытаясь закрыть проход в не'Мир и разгладить складки на холсте Мира, а потом все вместе отправились в Мандрагору и рассказали мэтрэгунцам то, что я тебе сейчас рассказал, – и вот так, путник, я и сам узнал потом, позже, от нескольких мэтрэгунцев, историю о том, как из Мандрагоры изгнали зло. Теперь ты ее тоже знаешь.

Глава двадцать вторая

В которой мы узнаем, как жилось в Мандрагоре под управлением святого Тауша, до самой последней его скырбы, коя произошла из не'Мира

Годы текли в Мандрагоре один за другим, и люди были довольны своей жизнью. Приезжали путники со всех краев, чтобы своими глазами увидеть маленький город, в который святой Тауш превратил простое село под названием Рэдэчини, а тех, кого раньше поносили, над кем издевались из-за их выдуманного происхождения, теперь любили, и стали они знаменитыми, потому что дали кров святому из Гайстерштата и потому что он сам их любил. Многие приходили, смотрели и уходили; кое-кто оставался, покупал дом и начинал вести хозяйство в Мандрагоре, потому что жизнь в городе сделалась бурной, как океан, и дела у торговцев шли отлично. Мэтрэгунцы, по настоянию святого, переменились, стали не такими прихотливыми и подозрительными, и самые разные люди из разных краев начали селиться в Мандрагоре, а за пределами городских стен потихоньку выросло то, из чего вырос нынешний округ Медии, среднее кольцо Альрауны. Школа разрослась, построили старый лазарет, и жизнь в Мандрагоре начала так бить ключом, что можно было подумать, будто ты попал за великую реку и оказался при дворе самого короля.

Призванные Таушем мертвецы исчезли; никто не знал, почему и как, но святой как будто в них больше не нуждался, и они вернулись туда, откуда пришли, к облегчению тех, кому довелось углядеть в странной свите Тауша усопшего отца или деда. Но люди не забывают об увиденном так просто, и Тауш стал легендой, мифом, преданием и историей еще при жизни, он упоминался почти в каждом городе Ступни Тапала – у ярко горящих очагов в одиноко стоящих трактирах, в играх малышей в затерянных селах, в девичьих грезах и юношеских мечтах о подвигах.

Но Тауш мало кому показывался на глаза. Годы шли, и все больше учеников решали податься в Деревянную обитель на горе, куда удалился святой и откуда он надзирал за Мандрагорой. В орден вступали в десять лет, служили, а потом ждали, чтобы в семнадцать-восемнадцать лет отправиться странствовать по Ступне Тапала, по дорогам, которые проторили когда-то Мошу-Таче, Тауш и – если позволишь, пилигрим, – Бартоломеус, а также бедолага Данко Ферус, чтобы отыскать села, которые можно будет окружить крепостной стеной и возвеличить. Лишь время от времени святой спускался из леса, садился на пень на опушке и глядел на Мандрагору в долине, а что при этом творилось в его душе – лишь ему одному было ведомо.

Лет через пять, когда город расцвел, Таушу пришлось впервые покинуть Мандрагору, потому как усталые вестники, добравшись наконец до цели своего пути, сообщили новость: мать святого лежала на смертном одре и готовилась отправиться в последний путь. Тауш тотчас же собрал узелок, вышел из леса, пересек Мандрагору и вышел на равнину; потом он затерялся вдали. Отсутствовал святой целый месяц, а когда вернулся, ученикам пришлось его выхаживать, потому что он очень похудел, почернел и ослаб, сделался молчаливым и рассеянным, как будто настигла его очередная скырба, но какая-то неполноценная, болезненная. Эх, пилигрим, а теперь слушай меня внимательно: здесь легенды отправляются разными дорогами, которые

не пересекаются; они тянутся друг к другу, но бьют копытами, словно сердитые кони. Дело в том, что жители Гайстерштата хранят легенду о матери Тауша – дескать, испустила она дух одна-одинешенька. Даже в королевском дворце есть маленькая картина – примерно как окошко в хижине, – на которой умирающая женщина, и называется она просто: «Мать святого». Их легенда гласит, что женщина умерла одна: как ни старалась она продержаться еще немного, как ни выпрядала нить жизни все более тонкую, та делалась короче и короче – и сын ее так и не появился. Ее похоронили в Гайстерштате, недалеко от того места, где упокоились четырнадцать человек, – ты ведь помнишь, одноглазый пилигрим, как обрушилась стена и оборвала сразу множество жизней, среди которых и жизнь славного мужа вдовы, отца Тауша. Что держало Тауша вдали от мамы в ее последние мгновения, никто не знает – видишь ли, не существует легенд для всего подряд, ведь если бы было иначе, то этот миг, да-да, вот этот... ага, он уже прошел... ну да, даже тот миг обрел бы твою легенду и мою легенду, пускай он и исчез быстрее, чем мы успели его заметить, облечь в слова, и мы бы вместо того, чтобы думать о дороге и своих делах, поругались из-за легенды об утраченном мгновении. Так нельзя. Вот потому-то не все имеет свою историю, но в то же время кое-что имеет слишком много историй.

Святой Тауш погрузился в молчание и много времени провел наверху, в своей деревянной келье в лесу, где за ним ухаживали дорогие ученики, которые даже во время болезни собирались вокруг учителя и рассказывали свои истории, творили из них Мир, потому что боялись, как бы не упустить какой-нибудь огрызок не'Мира, и этот страх был крепостной стеной, пограничной вехой Мандрагоры. И вот так, понемногу, жизнь в Деревянной обители опять пошла своим чередом, и мало что можно поведать о том, как Тауш провел это третье десятилетие отпущенного ему срока. А теперь – гляди-ка, до ворот Альрауны осталось всего лишь несколько часов, так что давай я, пилигрим, поведаю тебе о последней скырбе святого Тауша, и ты узнаешь историю первой жизни святого из Гайстерштата до конца.

Случилось это на десятый год святого в Мандрагоре. Город готовился возвести вторую стену, чтобы объять дома, возведенные за пределами первого округа, который решено было поименовать Прими. Ученики приходили и уходили, сами, в свой черед, возводили другие города по всей Ступне Тапала; Мандрагора, защищенная от войн, которые уже начались за Великой рекой, росла на глазах, и большое богатство собиралось меж ее стен. Тауш держался в стороне и не вмешивался в дела горожан; из своих келий на горе апостолы Тауша повествовали Мир, мэтрэгунцы заботились о нем, как могли, и делали своим – и это было хорошо. До того дня, когда один из учеников спустился в Мандрагору и заорал во всю глотку, что святой Тауш опять – в первый раз с той поры, как он поселился в Рэдэчини – охвачен скырбой.

Горожане изумлялись, потому что все они слышали о легендарных скырбах Тауша во время его путешествия из Гайстерштата в Рэдэчини. Сперва, как рассказывали матери детям, был пир Унге Цифэра, который учит не доверять слепо чужакам, какими бы славными и гостеприимными те ни казались на первый взгляд; затем, рассказывали отцы юношам, шла история про трактир наслаждений, которая ясней ясного дает понять, что плотские страсти могут быть обманчивы, и надо отмерять их с большой осторожностью, думать головой, а не чреслами; и, наконец, последней была – как рассказывали старики внукам – скырба в Лысой долине, из которой мы узнаем, что нет такой цены, которую нельзя заплатить за истину, и что нетрудно пожертвовать жизнью друга, возложив ее на алтарь мужества, чтобы не позволить злу нарушить равновесие. И вот так, дорогой пилигрим, твой собеседник и сам сделался героем мифа. А теперь слушай...

Целый легион любопытных поднялся на гору, чтобы поглядеть на Тауша, охваченного скырбой. Их по очереди впускали в его хижину, где святой сидел недвижно в своей постели и смотрел в пустоту, скривив губы от омерзения, прикрытый лишь куском белой ткани, в то время как вокруг него суетились ученики, ухаживали: кто-то выжимал ему в рот тряпицу, смоченную в воде и вине, кто-то пальцем запихивал между зубами пищу, уже пережеванную кем-

то из них. Еще один размахивал полотнищами, привязанными к палкам, чтобы святой дышал свежим воздухом и чтобы немного разогнать сгустившийся вокруг него густой ароматный дым, идущий из угла, где возился с жаровней ученик, знавший, как возжигать благовония.

Мэтрэгунцы входили один за другим, склоняли головы пред Таушем, которого касались робко и осторожно, чувствуя холодную кожу, полагая, что нечто – оно должно было быть у Тауша, как у любого человека, и назовем это нечто «душой» – некоторое время назад его покинуло, и тело остыло в ожидании, пока оно вернется. Мне неловко произносить это слово – «душа», – потому что ты и сам видишь, пилигрим, у меня ее нет, ведь если бы была, то сразу провалилась бы сквозь грудную клетку – пф-ф, и нету. И потому, беря самого себя в качестве самого удобного примера, рискну заявить – и ты уж прости, я это говорю по-доброму, а не со злом, – что ни у тебя, ни у других ее тоже нету. Значит, и у Тауша ее не было в тот день, когда его холодное тело ощупывали сотни мэтрэгунцев, следуя вереницей, опустив голову, пред его ликом. Но чтобы не обманывать себя и не сбиться с пути из-за дурацких вопросов, чтобы сохранить нить повествования, назовем это «душой» – и двинемся дальше. Слушай!

Тауш оставался недвижимым, словно валун, несколько дней, кожа его была холодна, а взгляд – устремлен в пустоту, и весь город в тревоге ждал, и как будто даже калачи и прочий хлеб не поднимались должным образом, мясо резалось не так, как просил покупатель, дети играли без воодушевления, и ссоры торговцев на базаре были не такими как раньше, столь задумчивыми и подавленными сделались мэтрэгунцы, ожидая, пока Тауш вернется в собственное тело оттуда, куда он спустился. Все, по слухам, сильно боялись этой скырбы, думая, что если святой больше не встанет, не'Мир проест в Мире дыру, словно моль, и люди спрашивали друг друга шепотом, не найдется ли среди учеников какой просветленный, чтобы занять его место.

И когда от таких мыслей как будто даже камни в стенах начали размалывать сами себя, Тауш очнулся и попросил попить и поесть. Затем, собрав вокруг себя большую толпу учеников, он спустился в Мандрагору и присел в тени Зала собраний – того, где на костре сгорела Анелида, – и заговорил с людьми. Сказал он примерно следующее:

– Дорогие мои братья и сестры, когда я оказался среди вас десять лет назад, вы приняли меня как своего, хотя видно, что нет у меня волос ни на голове, ни на лице. (Раздался смех тут и там.) Притащился я из последних сил, одолев долгую дорогу через пустошь, а вы приняли меня в своем доме, отломили от своего хлеба и налили вина. Вы препоручили мне своих сыновей, и вместе нам удалось сделать то, чему я, в свой черед, научился у своего святого, Мошу-Таче, в Деревянной обители в лесу возле Гайстерштата. Вместе мы повествовали Мир и не подпускали не'Мир к нашим домам. Вот уже десять лет прошло с того дня, как мы сожгли труп Анелиды и изгнали ученого Хасчека под землю, и никакое зло за это время не покусилось на Мандрагору. (Тут все закричали: «Ура!»)

Слушай дальше, пилигрим.

– Слушайте, мэтрэгунцы: хоть я и старался скрывать от вас свои чудеса, не вмешиваться в ваши дела, как полагается хорошему святому – покровителю города, хотел я позволить вам строить Мандрагору так, как захочется, и ученики берегли меня от всего мирского – но, так уж вышло, настиг меня сон наяву, коий вы именуете скырбой, потому что кривит он мой рот и нос, но для меня этот сон был долгим путешествием. Вы своими глазами видели, как далеко устремлен мой взгляд, и чувствовали, прикасаясь, холод моего уха, потому что меня тут не было, я удалился – но побывал не в Мире, а в не'Мире. (Тут все изумились.) Да, мэтрэгунцы, в не'Мире – но не надо тревожиться, потому что дыра, ведущая в то место, которое я посетил, открылась не в городе и даже не в лесу, так что из нее не может появиться ничто, способное к вам как-то прикоснуться. Эта дыра, ведущая в не'Мир, открылась во мне (тут, пилигрим, все начали шептаться, да-да!), и приняли меня в не'Мире, но телу моему пришлось остаться тут, в Мире, среди вас, потому что в не'Мире принимают лишь тела не'Людей – способных

пересекать пороги, а также заблудших, ушедших сразу и телом, и душой. Те, кто ушли из дома и не вернулись, сейчас в не'Мире. О них-то я и хочу с вами поговорить.

(Тут вокруг воцарились суэта и замешательство.)

– Итак, спустился я в не'Мир и встретил там кое-кого: старого друга из учеников Мошу-Таче, Данко Феруса. Про него уже сложили легенды, дескать, был он слабый, болезненный юноша, которого то ли утащили в не'Мир, то ли он по доброй воле туда ушел. Знайте же, мэтрэгунцы, что я его повстречал, и он говорил со мной из-под маски, потому что страшился моего взгляда. Поверх человеческой своей головы носил он голову коня, а в остальном был голый, но я сразу узнал старого доброго друга, такого же как я ученика в прошлом, и потерянного, сломленного страданиями спутника, который со мной и Бартоломеусом отправился в путь из Гайстерштата в Лысую долину. Данко долго мне рассказывал о том, как спустился в не'Мир через сарай Унге Цифэра и что делал за эти десять прошедших лет – но знайте, что в не'Мире это всего лишь один год, – и о том, как он собрал всех, кто не нашел там себе места. Потому что, хоть Данко и в не'Мире, он ему не принадлежит, он там лишь спит и ест, за пределами Мира, ради которого трудится. (Тут в толпе заплакали.) Мэтрэгунцы, вот что я скажу: Данко Ферус отвел меня туда, где собрал всех этих потерянных, и показал их мне. Идите-ка сюда все, кто потерял близкого и не нашел его тело, как ни искал!

И пред ликом Тауша тотчас же собралась маленькая толпа – человек тридцать, все простые люди, но среди них затесались и некоторые старейшины Мандрагоры. Тауш начал спрашивать:

– Кого ты потерял?

Люди стали называть имя за именем, а Тауш говорил: да, он там был, да, я его видел, да, гладил по голове, да, скучает, да, хочет домой. Мэтрэгунцы начали плакать от тоски и боли, но еще и дрожать от страха, потому что не знали, во что им теперь верить. Тауш так хорошо описал облик всех пропавших без вести, как будто вырос с ними в одном доме и сам видел, как они исчезли. И многие начали говорить, дескать, дело ясное – у Мандрагоры самый сильный святой во всей Ступне Тапала; но были и те, кто шептался, дескать, не может такого быть, никому не по силам просто взять и открыть ход в не'Мир.

Священники впали в задумчивость и медитацию, пытаясь вспомнить, какие боги принадлежат Миру, а какие – не'Миру.

– Ученики мои, – объявил тем временем святой Тауш, – вернут ваших потерянных родственников, своим повествованием приоткрыв путь в не'Мир.

Глава двадцать третья

В которой мы узнаем о том, как потерянные возвращаются домой, и о первой смерти святого Тауша, про которую сразу забывают все; Бартоломеус и Данко Ферус отправляются в Мандрагору

После того как Тауш завершил проповедь и вернулся в хижину, среди мэтрэгунцев начались споры, но в конце концов старейшины решили принять предложение святого и разрешить ему и ученикам открыть врата Мира для потерянных. Вскоре – ученики все это время рассказывали, рассказывали... – Мандрагора уже принимала тех, кто долго блуждал, но вернулся домой.

Не было улицы, на которой не нашлось бы двое, трое вернувшихся, и все прочие толпились, желая на них поглядеть. Родители плакали от радости, братья и сестры радовались, но ты должен знать, путник, что втайне все беспокоились, потому что происходящее их взволновало сверх всякой меры. Вот парнишка, что ушел пасти овец совсем юным, да так и не вернулся – вот он, с телом, раздавленным какой-то упавшей скалой, но живой и, вместе с тем, не совсем; вот чья-то сестра, что отправилась на рынок продавать брынзу, изнасилованная и избитая, но

живая и все же нет; вот чей-то отец, который двадцать лет назад уехал в соседний город с полным кошельком, а теперь тот кошель пустой, и сам мужчина, погляди-ка, с перерезанным горлом, грудь вся в засохшей крови, без одного глаза и с дырой в животе, из которой воняет ужасно, вот он есть и как будто его нет; вот семья, которая радостно отправилась в гости к родне за Великой рекой; вот запеленатый младенец, которого укусила за голову лиса, взгляни, как он весело машет ручками и ножками, смеется, и кусочки мозга капают на руку маме, которая сама тут и там объедена крысами; взгляни, как матери прижимают детей к груди, но дети-то, ох, безголовые.

Да, путник, примерно так все было в те дни, в тех подворьях Мандрагоры, пока весь город не восстал и не изгнал не только живых и счастливых, но на самом деле мертвых и заблудших жителей, но и самого Тауша, святого покровителя. Все началось через несколько дней после того, как Тауш и его ученики открыли складки Мира, и ветер из не'Мира нагрянул в город, а вместе с ним – и бедные потерянные родственники. Вышло так: как-то ночью, ближе к рассвету, один юноша выволок на улицу вернувшегося брата – вынес на вилах и стряхнул на землю перед домом, вопя как бешеный зверь, чтобы всех вернувшихся изгнали, а с ними и святого Тауша. В домах по соседству проснулись, и, заслышав такие тяжкие речи, кто-то вышел на улицу, кто-то подошел к окну, и люди попытались успокоить молодого человека, который знай себе тыкал вилами в живот мертвеца, который ожил, а потом опять сделался мертвым, как и подобает покойнику. Продолжая кричать как безумный, юноша рассказал, что случилось: он услышал звуки из комнаты младшей сестры и вошел туда, чтобы узнать, все ли в порядке, но оказалось, что вовсе нет – лежала она в углу без чувств, голая, срамные места все в крови, а на полу их брат, вернувшийся из не'Мира, блевал червями, жирными и черными.

И действительно, у мертвеца зубы, борода и грудь были испачканы в какой-то жирной и черной пасте. Не успели люди успокоить парня, как тот ринулся обратно в дом, мимо родителей, которые потеряли сознание на пороге, и взбежал на второй этаж. Пока его не было, появились девушки, взволнованные, испуганные – вышли они из толпы и сказали, что в минувшие ночи снились им ужасные сны, кошмары всевозможных видов, в которых вернувшиеся – отцы, братья или даже матери – насиловали их в дырах в земле, лужах и грязных канавах, но они все списали на страхи последних дней и надеялись привыкнуть к мертвецам в доме, но гляди-ка... Не успели они рассказать еще что-то, как из окна дома на втором этаже раздался страшный рев, и обезумевший парень выкинул на улицу вилы, которые с грохотом упали на мостовую, меж мэтрэгунцев, и на зубьях вил люди увидели извивающегося червя, большого и черного, тошнотворного. Люди начали кричать, но крики застряли у них в горле, когда прямо на толпу упал труп девушки, изнасилованной сестры, которую обезумевший парень выкинул из окна, – была она мертвая, вся в крови, и брат ее в окне, над головами мэтрэгунцев, рвал волосы на голове от отчаяния и кричал. Несколько мужчин посмелее, придя в себя, бросились в дом, чтобы вывести его оттуда, но, когда добрались они до комнаты, он уже перерезал себе глотку ножом и кинулся головой вперед в разожженный очаг.

В ту ночь то же самое происходило по всей Мандрагоре. Старейшины, которых это безумие пробудило ото сна, увидели, что творится, и отправились успокаивать людей и искать Тауша, но слишком короткой оказалась дорога, которую толпа одолела от своих домов до Зала собраний, а потом – Деревянной обители, и за это время горожане обезумели от гнева и отвращения и, прибыв к святому Таушу, найдя его бодрствующим в дверях хижины, кинулись они на него и разорвали, страшась, что этот человек – если его можно было назвать человеком – сговорился с не'Людьми из не'Мира. Вспомнили они легенды, что прибыли следом за святым (ту, что про Унге Цифэра, носителя монстра с глазом на затылке, ту, что с девицами-соблазнительницами, превратившимися в ленты из горячей плоти, – ты все помнишь, дорогой мой путник), и начали в бреду колоть его и резать, рубить святого Тауша на части, и скоро двор Деревянной обители заполнился кусками расчлененного тела того, кто когда-то был святым

Таушем из Гайстерштата, учеником Мошу-Таче, преследователем и изгонителем зла, основателем Мандрагоры. Но внутри святого не нашли они ничего нечеловеческого, только кровь, мясо и кости – и, говорили некоторые, облачко пара, которое тотчас же рассеялось. Может, это и была душа, про которую люди рассказывают, пилигрим. Кто его знает...

Увидев все это, разбежались ученики во все стороны, затерялись в лесу и спрятались кто где, пока мэтрэгунцы не вернулись в Мандрагору. Горожане, к вечеру очнувшись от ужасного сна, дрожа и сотрясаясь от рвоты, поняли, что натворили, и содрогнулись. Собрались

они огромной толпой в Зале собраний и за его пределами, все помня – и желая забыть, и начали рассказывать. Говорили они много, дни напролет, то друг с другом, то себе под нос, то громко, то в мыслях, начиная с одной истории, заканчивая другой, и вот так, одноглазый путник, перекраивали они историю села Рэдэчины, которое, благодаря труду и братской любви, стало большим городом Мандрагорой всего за десять лет, и ни в одной из этих баек не появлялся никакой святой, не говоря уже о святом из Гайстерштата по имени Тауш. Они задавались вопросом: а такой город вообще существует? Жил ли когда-то старик с таким дурацким именем, как Мошу-Таче, и прочие причудливые существа, вроде Унге Цифэра, учителя Хасчека и его Анелиды? И, наконец, развеселились они, твердя, что лишь безумец мог выдумать все эти сказки, обнялись, поцеловали друг друга в щеки и отправились по домам после нескольких дней и ночей, проведенных под сенью Зала собраний, который теперь они называли Залом Анелиды, но никто не понимал почему.

Только парочка блаженных, городских сумасшедших – ведь они, конечно же, есть в каждом городе, да? – продолжали говорить о так называемом святом по имени Тауш, который жил и творил великие чудеса и который собрал на горе, вокруг себя, горстку учеников. Безумцев потихоньку изгнали, и года не прошло, как

Мандрагора от них избавилась, и побрели они кто куда, на все четыре стороны, в другие города, нашли там приют, попрошайничая и ночуя под мостами. Но, как это часто случается в Мирае с той поры, как он возник, иной раз безумец хватается за перо – и вот так кто-то облек в слова все эти приключения, о которых я поведал тебе за время нашего короткого путешествия до Альрауны.

Назвали эту историю «Скырба святого с красной веревкой». И нынче, если отправишься в Альрауну или какой другой город побольше, а то и в Столицу, в некоторых домах можно отыскать паршивенькую копию «Скырбы», которую люди там и тут считают любопытной, развлекательной фантазией, мифом, выдумкой. Сказкой.

И все те же безумцы начали шептать по углам на ушко тем, кто хотел слушать – ради развлечения, только и всего, – что все останки святого Тауша собрали ученики, которые рассеялись по лесу и спрятались там, и где-то они возвели тайком монастырь для самих себя, и в нем старательно, на протяжении многих недель соединяя кусочек с кусочком, рассказали своему любимому святому новую жизнь.

Но, дорогой путник, здесь и сейчас завершается путешествие, в котором мы были попутчиками, ибо, гляди-ка, уже видны толстые, мощные стены Альрауны, и первые ворота, что ведут в тесный округ Инфими – значит, пора нам расстаться. Но сперва ты должен рассчитаться за последний рассказ, отдать Бартоломеусу Костяному Кулаку последнюю плату, которая ему причитается. Тут моя история заканчивается, возлюбленный мой пилигрим, а с нею – и жизнь

твоя, ибо, согласишься, где конец истории, там и конец Мира, а где конец Мира, там и человеку конец, потому что там начинается не'Мир и обитают не'Люди, и лишь немногие истории пересекают эту грань, а возвращаются оттуда – и того меньше. Я склоняюсь пред тобой, славный мой, дорогой слушатель, и пусть занавес скроет нас.

* * *

И, сказав это, Бартоломеус Костяной Кулак нанес попутчику сильный удар в висок, и бедолага слетел на обочину. Скелет увел кибитку с дороги и оттащил пилигрима под дерево, остерегаясь взглядов стражников у ворот Альрауны, что виднелась вдалеке. Поглядел налево, поглядел направо – не видать никого – и принялся очищать голову путника от кожи, от плоти, вытащил глаз с хвостиком фиолетовых вен, положил на камень поблизости. Чистил он хорошо, тщательно, кропотливо, не оставив на черепе ни малейшей частички плоти, собрав кровь в миски, а потом бросил череп на кучу костей, которые когда-то были пилигримом из Каркары. Настала ночь, но Бартоломеус не нуждался в свете, чтобы заниматься своим делом, его худые пальцы аккуратно прикладывали плоть путника к собственному черепу бывшего скелета, а потом – кожу с головы, с редкими седыми волосами, и, наконец, глаз, единственный, глубоко запихнули в правую глазницу. Бартоломеус встал, прошелся туда-сюда, почувствовал, что все сидит как надо, взглянул на дело рук своих и сказал самому себе, что это хорошо. Собрал кости пилигрима и похоронил под деревом, а потом забрался в кибитку и поехал к Альрауне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.